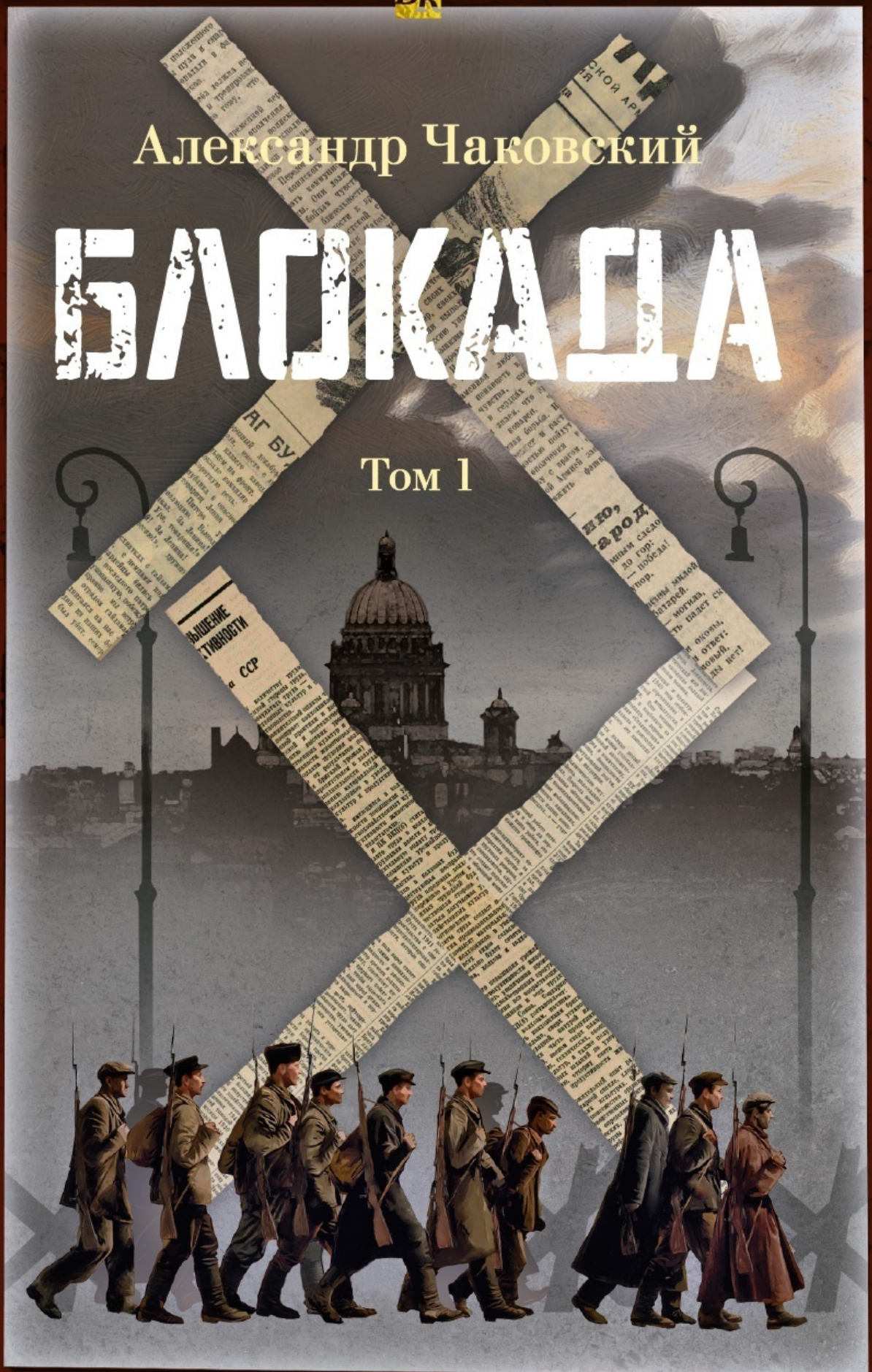
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

БК

Александр Чаковский

БЛОКАДА

Том 1



«АЗБУКА»

Блокада

Александр Чаковский

Блокада. Том 1

«Азбука»
1969

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Чаковский А. Б.

Блокада. Том 1 / А. Б. Чаковский — «Азбука», 1969 — (Блокада)

ISBN 978-5-389-35830-0

Роман-эпопея Александра Чаковского «Блокада» посвящен героической обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Охватывая время от событий, предшествовавших нападению Германии на Советский Союз, до прорыва блокады в 1943 году в ходе наступательной операции «Искра», пять книг эпопеи последовательно рассказывают о важнейших этапах одной из самых трагических страниц нашей истории: канун войны, бои на подступах к городу летом 1941 года и тяжелая осень, когда вокруг Ленинграда сомкнулось вражеское кольцо, голод, создание Ладожской ледовой Дороги жизни и, наконец, – прорыв. Александр Чаковский, сам бывший военным корреспондентом и своими глазами видевший блокадный Ленинград, стремился к максимальной достоверности, опираясь на архивные документы и свидетельства очевидцев. И в итоге смог создать произведение, в котором линия фронта, жизнь в осажденном городе, работа Ставки Верховного Главнокомандования и планы противника сплетаются в единое историческое полотно. Подробно воссозданы ключевые эпизоды: бои за Тихвин и Волхов, сражения в районе Невской Дубровки, показаны внутренние и международные действия советского руководства, обстановка в германском лагере. Но в центре внимания Чаковского – судьбы людей, их поступки, переживания и нравственный выбор. В настоящий том вошли первая и вторая книги эпопеи.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-35830-0

© Чаковский А. Б., 1969
© Азбука, 1969

Содержание

Книга I 7
I 7
II 25
III 32
IV 42
Конец ознакомительного фрагмента. 46

Александр Чаковский
Блокада
Том 1

Серийное оформление Вадима Пожидаева.
Оформление обложки и иллюстрация на обложке Владимира Гусакова.

© А. Б. Чаковский (наследник), 2026
© Оформление. ООО «Издательство АЗБУКА», 2026 Издательство Азбука®

* * *

Книга I

I

– Ну а теперь скажи: как ты решился? Как?!

Они сидели в маленьком номере гостиницы «Москва», куда Звягинцева только что переселили. Из Кремля Звягинцев возвращался вместе с Королевым, и жили они вот уже пять дней вместе, то есть в одной гостинице и на одном этаже, только полковник Королев – в отдельном номере, а майор Звягинцев – в общежитии на пять коек.

Однако сегодня, когда они проходили мимо дежурной по этажу и Королев взял ключ от своей комнаты, а Звягинцев уже сделал несколько шагов по коридору, полагая, что у них в номере наверняка кто-нибудь есть, он был остановлен голосом дежурной.

– А вас переселили, товарищ командир, – сказала ему дежурная, невысокая пожилая блондинка с очень бледным лицом альбиноски и ярко накрашенными губами. – И вещи ваши уже перенесли. Чемоданчик. В отдельный номер!

– Вы это мне? – недоуменно переспросил Звягинцев. – Но ведь мы сегодня вечером уезжаем, «Стрелой».

– Не знаю, не знаю, распоряжение дирекции. – Она протянула Звягинцеву ключ, многозначительно улыбаясь, так, точно желая дать ему понять, что говорит далеко не все, что ей известно.

– Здорово! – усмехнулся Королев. – Четко работают! А ну давай, майор, пойдем, покажи свои новые владения.

– Зачем же это? – удивленно поднял брови Звягинцев, когда они вошли в номер – маленькую комнату, в которой тем не менее умещалось много мебели: письменный стол, два кресла, кровать, застеленная голубым покрывалом, другой стол – маленький, круглый, стоящий посредине комнаты под свисающим с потолка ярко-синим матерчатым абажуром.

Полуоткрытая дверь вела в ванную.

– Чего же я тут буду делать? – растерянно озираясь, сказал Звягинцев. – Ведь через три часа…

Он отвернул рукав гимнастерки и посмотрел на часы.

– Что делать? – переспросил Королев. – Ха! Это ты меня спроси. Я знаю.

Он решительно подошел к письменному столу, снял трубку телефона и, набрав на диске три номера, сказал:

– Ресторан? Значит, так…

…И вот они сидят за круглым полированным столом. Официант только что принес на большом подносе заказанный Королевым ужин – бифштексы, прикрытые, чтобы не остыли, опрокинутыми глубокими тарелками, картошку в металлическом судке, селедку, обложенную колечками лука, бутылку коньяку, рюмки – и, расставив все это на столе, ушел.

– А теперь вот что, – сказал Королев, усаживаясь и вытягивая под столом ноги в до блеска начищенных, плотно облегающих икры сапогах, – и есть не буду, и пить не буду. И тебе не дам. Пока не скажешь. Как же ты решился? Ну давай, давай! Рассказывай.

Звягинцев пожал плечами и смущенно улыбнулся:

– Послал записку в президиум. Не был даже уверен, что дойдет… Вот и все.

– Ну знаешь!

Королев развел руками, потом взял бутылку, пошарил взглядом по столу в поисках штопора. Не нашел, зажал бутылку в своем большом кулаке, энергично покрутил ее, пока жид-

кость фонтанчиком не устремилась в горлышко, и резким ударом ладони о дно бутылки вышиб пробку.

– Сильно́, – снова улыбнулся Звягинцев.

– А у меня батька извозчиком был. Гужевым транспортом владел в одну лошадиную силу. Так он с пробочником обращаться не умел. А ведь раньше бутылки настоящими пробками затыкали. Так что я с детства этот университет прошел.

Он налил коньяк в рюмки, посмотрел на Звягинцева, недоверчиво покачал головой и усмехнулся:

– Значит, говоришь, записку? Вынул блокнотик, черкнул пару слов, и все?

Звягинцев молчал.

– Но хоть кто ты есть – написал? – не унимался Королев. – Может, тебя за какого генерала приняли? Звание-то, звание свое указал?

– Давай выпьем, что ли, Павел Максимович, – сказал Звягинцев, внезапно почувствовав неимоверную усталость, и потянулся к рюмке.

– Нет, погоди! – воскликнул Королев и, быстро протянув руку, накрыл рюмку Звягинцева своей широкой ладонью. – Хочу уяснить. Ну скажи мне кто-нибудь, что Алешка Звягинцев первый в атаку кинулся, – поверю. Мину неизвестной конструкции собственноручно разрядил… Допускаю, вполне возможно. Но тут… Елки зеленые! Сталин! Нарком! Маршалы!.. И вдруг: «Слово предоставляется товарищу Звягинцеву, Ленинградский военный округ!» Я сначала и не понял: как будто все свое окружное начальство знаю, что, мол, еще за Звягинцев такой! Гляжу – мать ро́дная – его превосходительство Алексей Васильевич по проходу шагает… Слушай, вот тебе слово мое даю: если б я в то время стоял, а не сидел, – ноги бы от страха за тебя подкосились!

Королев снова развел руками, потом тряхнул своей тяжелой головой и сказал:

– Ладно. Пьем. Поздравляю! Нет, погоди! – спохватился он и снова прикрыл рюмку Звягинцева ладонью. – Сначала самое главное. О чем тебя товарищ Сталин спросил?

– Ты же слышал.

– Слышал, слышал! Тут от одного факта, что лично его слова слушаешь, голову потеряешь. Всех ораторов записывал, а тут пропустил. Вот, погоди…

И Королев, повернувшись вместе со стулом, потянулся к своему планшету, лежащему на письменном столе, вытащил большой блокнот и стал перелистывать его, приговаривая:

– Так… Мерецков… Грендаль… Кузнецов… А где же ты-то у меня? А ведь я тебя пропустил, майор! Ей-богу, пропустил! Так за тебя переживал, что и не записал. Ну это потом. А сейчас ты мне реплику товарища Сталина повтори. Ну? Только давай слово в слово.

И Королев вытащил вечную ручку из нагрудного кармана гимнастерки, отвинтил колпачок и, встряхнув ручку, приготовился писать.

– Слово в слово не помню, – сказал Звягинцев.

– То, что Сталин сказал, не помнишь? – с искренним недоумением переспросил Королев.

– Слово в слово не помню, – тихо повторил Звягинцев. – Я ведь тоже очень волновался… Погоди. Я, кажется, сказал, что у нас не хватало техники, чтобы…

– Я тебя не про то, что ты говорил, спрашиваю, – сердито прервал его Королев, – я слова Иосифа Виссарионовича записать хочу!

– Но я же об этом и говорю, – с неожиданным для самого себя раздражением сказал Звягинцев. – Когда я обо всем этом рассказал, он прервал меня и спросил: «А скажите, вы считаете, что инженерные части должны обладать…»

– Да не торопись ты! – с отчаянием воскликнул Королев. – Что я тебе, стенографистка, что ли! Давай медленнее. – Он локтем отодвинул в сторону тарелку с бифштексом, положил перед собой блокнот и приготовился писать. – «А скажите…» – сосредоточенно водя пером по бумаге, повторил Королев.

– Я не уверен, что он произнес именно эти слова, – прервал его Звягинцев. – И дело, мне кажется, не в букве, а в смысле того, что было сказано.

– Та-та-та-та! «В смысле», видите ли! – передразнил его Королев и уже с обидой в голосе продолжал: – Ну конечно, чего там майору Звягинцеву с каким-то полковником Королевым возиться! Его сам товарищ Сталин слушал, не говоря уже о разных там маршалах и генералах! – Он нахмурил свои густые, чуть тронутые сединой брови и добавил уже иным, холодноназидательным тоном: – А только меня воспитывали так, чтобы слова товарища Сталина цитировать точно. Не знаю, как другие, а только я…

– Павел Максимович, ну зачем ты так… – снова прервал Звягинцев, чувствуя, что все его раздражение прошло, и внутренне сам удивляясь, как это, в самом деле, он мог забыть слова, сказанные Сталиным, – не смысл вопроса, нет, это он помнил отлично, но сами слова.

Звягинцев попытался сосредоточиться, вспомнить и снова всем существом своим, всеми мыслями перенесся туда, где провел последние четыре дня…

О том, что в Москве созывается ответственное совещание, посвященное итогам недавно закончившейся войны с Финляндией, Звягинцеву стало известно еще две недели назад. Об этом ему сказал начальник инженерного управления округа, когда приказал подготовить материалы о действиях инженерных войск и в случае необходимости выехать с ними в Москву.

Это было вечером, перед самым концом рабочего дня.

Звягинцев вышел из здания штаба и пошел пешком по проспекту 25-го Октября, который все по старой привычке называли Невским, до Литейного, чтобы там сесть на автобус. Звягинцев совершал этот путь каждый день, возвращаясь с работы. Каждый день, с тех пор как кончилась Советско-финляндская война и он вернулся домой, в Ленинград, хотя раньше, до войны, он экономил время и, возвращаясь с работы, садился в трамвай уже в самом начале Невского, на углу улицы Гоголя.

За время войны Звягинцеву удалось только один раз побывать в городе, и он поразил его. Вернувшись на короткое время с фронта в штаб, он впервые увидел город погруженным во мрак. Ночная темень там, среди сугробов на Карельском перешейке, разрываемая лишь призрачными огнями сигнальных ракет, казалась естественной, несмотря на грохот артиллерийских разрывов и мягкий свист снайперских пуль – точно умелая мальчишеская рука бросает в воду плоские камешки.

Но тут все воспринималось иначе. Здесь не стреляли, не было снежных сугробов, но вид огромного города, который, сколько помнил себя Звягинцев, каждый вечер загорался десятками тысяч огней, а теперь стоял погруженный во тьму, производил тяжелое, давящее впечатление.

И не только на него одного. Все ленинградцы пережили финскую войну гораздо острее, чем остальные советские люди. Впервые со времен революционных боев и последующей разрухи город погрузился во тьму: ожидали налетов финской авиации. В госпитали и больницы стали привозить раненых и обмороженных людей.

…Хотя прошли уже недели после того, как кончилась война, Звягинцеву все еще доставляло огромное удовольствие пройтись по Невскому, снова сияющему огнями фонарей, окон и витрин, радуясь ощущению, что все по-старому и что привычный ему мир незыблем.

Случилось так, что Звягинцев, один из командиров управления инженерных войск округа, стал в военные месяцы одним из непосредственных помощников начальника управления. Его предшественник уже на второй день войны получил тяжелое осколочное ранение в голову, когда инспектировал передовую линию укреплений.

По опыту своему – ему было всего двадцать восемь лет, и он только два года назад окончил Военно-инженерную академию – Звягинцев, казалось, для такой высокой должности не

подходил. И тем не менее он оказался на месте. К тому же Звягинцева любили. Два раза подряд его, так же как и полковника Королева, избирали в бюро партийной организации штаба округа.

И вот теперь, получив приказание готовить материалы для предстоящего совещания в Москве, Звягинцев медленно шел по Невскому в толпе гуляющих. Навстречу ему и обгоняя его, спешили девушки в беретах, последние годы вошедших в моду, в длинных узких юбках и в туфлях на низком каблуке, юноши, тоже в соответствии с установившейся в последнее время модой, в серых фланелевых брюках и темных, суженных в талии пиджаках, в голубых рубашках с длинными острыми углами воротников и в галстуках, повязанных широким квадратным узлом. На каждом углу продавались цветы. У знаменитого кафе «Норд» стояла небольшая очередь… Все это было так знакомо Звягинцеву, так привычно радовало глаз, что воспоминания о недавней короткой, но кровопролитной, в чем-то серьезно нарушившей привычный ход мыслей войне как-то тускнели и расплывались.

…Что ему предстоит тоже ехать в Москву, Звягинцев узнал всего за два дня до отъезда.

Все остальное произошло быстро и не оставляло времени для размышлений.

Рано утром автобусы доставили приехавших в «Стреле» ленинградских армейцев и моряков в гостиницу «Москва», где для каждого из них, в соответствии со званием и должностью, были уже приготовлены номера и общежития, они успели только поставить свои чемоданы, наскоро побриться и отправились в Кремль. От гостиницы до Спасских ворот было рукой подать – только перейти Красную площадь, но в комендатуре у окошка, где выдавались пропуска, пришлось задержаться: слишком много было народу.

Однако в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца все попали вовремя, и только здесь, в зале, очутившись среди высших командиров Красной армии и флота, командующих и начальников различных родов войск, пехотинцев, артиллеристов, летчиков и моряков, Звягинцев понял, куда он так нежданно-негаданно попал.

На совещании присутствовал Сталин.

Когда он появился из боковой двери президиума и, сопровождаемый идущими на два-три шага позади маршалами и генералами, пошел вдоль длинного, покрытого красным сукном стола, все в зале встали со своих мест и грохот аплодисментов слился со стуком откинувшихся сидений.

Но председательское место занял не он, а Ворошилов. Рядом сел маршал Советского Союза Тимошенко.

Сталин же, с которого не сводил глаз Звягинцев, сел сбоку в одном из дальних рядов президиума, но уже через несколько минут вынул из кармана трубку, встал и начал медленно прохаживаться за спинами сидящих в президиуме людей. В сером, так хорошо известном по портретам кителе, в прямых, невоенного покроя брюках, заправленных в сапоги, с трубкой в полусогнутой руке, он бесшумно передвигался взад и вперед, иногда присаживаясь на свое дальнее место в ряду – разумеется, его никто не занимал – и снова вставая, чтобы продолжить свое медленное и тихое хождение.

Время от времени Сталин останавливал выступающих, задавая им вопросы или бросая короткие реплики.

В зале стояла тишина, но когда Сталин замедлял свой и без того медленный бесшумный шаг и пристально смотрел на оратора или слегка приподнимал руку с зажатой в кулаке трубкой, тишина становилась еще более ощутимой, потому что все понимали: он хочет что-то сказать. И тогда тот, кто стоял на трибуне, невольно умолкал и оборачивался в сторону Сталина.

Совещание длилось несколько дней. С первого же дня оно приобрело острый дискуссионный характер. Один за другим поднимались на трибуну военачальники, чьи имена были хорошо известны Звягинцеву, чьи лица он знал по портретам. Все выступавшие единодушно отмечали, что Красная армия имеет надежное вооружение. И тем не менее, утверждали ораторы, личный состав армии, особенно пехоты, знает военную технику недостаточно и не умеет

ее использовать в зимних условиях. Почти все говорили о том, что северо-западный и северный театры военных действий были плохо подготовлены к операциям, о нехватке минометов и лыж, которыми в большом количестве обладали финны, о ненадежности радиотехнических средств связи и управления, о неудобстве нашего зимнего обмундирования…

Если бы в эти минуты кто-нибудь посоветовал Звягинцеву подняться на трибуну и выступить, то он воспринял бы это так, точно ему предложили прыгнуть с самолета без парашюта.

Почему же он все-таки решился? Как все это случилось?..

А произошло это так.

То ли кому-то из военного руководства показалось, что совещание приняло слишком острый критический характер, то ли просто некоторые из военачальников почувствовали, что их самолюбию, престижу может быть нанесен слишком сильный удар, но, так или иначе, в предпоследний день совещания Звягинцев ощутил в речах кое-кого из ораторов новый, несвойственный предыдущим выступлениям успокоенный тон.

Один из маршалов всю свою речь посвятил силе и доблести Красной армии, прорвавшей неприступную линию Маннергейма, при этом не сказав ни слова о том, какой ценой достался нам этот прорыв.

«Зачем он об этом здесь, на таком совещании?!» – с горечью спрашивал себя Звягинцев. Разумеется, он, всю войну проведший в войсках, не хуже других знал и о неприступности линии Маннергейма, самом сильном укреплении из тех, которые доселе были известны, и об отваге штурмовавших эту линию красноармейцев.

И когда об этом писали в газетах, Звягинцев принимал все слова как должные.

Но здесь, на таком совещании, в присутствии самого Сталина, который должен знать полную правду об этой войне…

Внезапно Звягинцеву показалось, что он снова там, на Карельском, и тогда все, все опять встало перед его глазами: снежные сугробы, застрявшие в них орудия, разбитые танки, обмороженные люди, затемненный Ленинград… В ушах засвистел ветер, и он уже не слышал ничего, кроме этого ветра, пулеметных очередей и взвизгивания снайперских пуль. А потом все исчезло, все, кроме белого листка блокнота, лежащего перед ним на пюпитре.

И тогда, сам еще не сознавая, что делает, почти автоматически Звягинцев написал на этом листке: «Прошу слова», звание свое и фамилию, вырвал листок и чисто механическим жестом дотронулся до плеча сидящего перед ним бритоголового комбрига.

Тот чуть повернулся, скосил на Звягинцева уголок глаза и протянул из-за плеча руку с растопыренными пальцами. И Звягинцев передал ему сложенную вчетверо записку.

Ощущение реальности всего происшедшего пришло к Звягинцеву минутой позже. Он понял, что совершил теперь уже непоправимую глупость: в отличие от большинства ораторов, не подготовившись, без написанного заранее текста, на таком – таком! – собрании попросил слова.

Его следующей мыслью было: задержать записку, не дать ей дойти до президиума, вернуть, изорвать на мелкие клочки. Звягинцев даже приподнялся, вглядываясь в спины сидящих перед ним людей, стараясь по их движениям определить, кто именно и кому передает в данный момент этот злосчастный листок. Но тщетно! Казалось, что все люди в передних рядах сидят не шелохнувшись или сосредоточенно делают записи в своих блокнотах.

Тогда Звягинцев стал утешать себя надеждой, что записка его, путешествуя по рядам, затерялась, что кто-то, поглощенный речью очередного оратора, отложил ее, забыл передать дальше или просто уронил.

Звягинцев перевел свой взгляд туда, к президиуму, точнее, к едва различимому с того места, где он сидел, ящику для записок, стоящему на маленьком столике. Но как будто никто из первых рядов не выходил к этому столику.

И когда высокий, подтянутый, с хорошей строевой выправкой военный, в очередной раз появившись откуда-то сбоку, подошел к столику и опустил руку в ящик, чтобы вынуть накопившиеся записки и передать их в президиум, Звягинцев почти успокоился: он был уверен, что его записки в ящике не было.

Чисто механически он стал наблюдать за военным. Тот легким шагом, держа перед собой вытянутую руку с записками, поднялся по лесенке, ведущей в президиум, сделал несколько шагов, обходя ряды и, видимо, желая пробраться к председательствующему на этот раз Тимошенко, но увидел идущего прямо на него Сталина, поспешно, совсем по-граждански повернулся, потом побежал назад и, положив записки перед сидевшим у самого края стола генералом, сбежал по лесенке вниз и исчез. Генерал, не читая, аккуратно сложил записки в стопку и передал соседу – тоже генералу, хорошо известному по портретам. Так, путешествуя по ряду, они дошли до Тимошенко.

«А вдруг… и моя там? – снова с тревогой подумал Звягинцев. – А что, если я не заметил…»

«А, ерунда!» – успокоил он себя. Если даже предположить, что записка дойдет или уже дошла до президиума, ему все равно не дадут слова. Кто он такой, кому он известен? Да и совещание, по слухам, вообще должно завтра закончиться. И говорят, что еще предстоит выступление самого Сталина…

Звягинцеву дали слово на вечернем заседании.

В первую секунду после того, как председательствующий объявил его фамилию, Звягинцев не двинулся с места. Он понял, что ведет себя нелепо, глупо, лишь после того, как в зале началось легкое движение и люди стали оборачиваться и поглядывать по сторонам в поисках объявленного оратора.

И тогда Звягинцев вскочил и быстрым шагом, чуть ли не бегом направился по проходу к той далекой и страшной лесенке, ведущей в президиум.

…Он не помнил, как говорил, но хорошо помнил – о чем. Без подготовленного текста, даже без конспекта Звягинцев произнес вслух то, о чем думал во время так задевшего его выступления маршала на утреннем заседании. В эти минуты он не видел перед собой людей, забыл и о тех, кто сидел за его спиной, – о маршалах, генералах и адмиралах, рядом с которыми он в обычное время не мог бы представить себя даже мысленно.

Звягинцев говорил о том, что совсем недавно испытал сам, о чем столько раз было уже переговорено с друзьями, – о том, что финны, создав предполье перед главной полосой обороны и при отходе разрушив за собой все мосты и дороги и ведя бои на промежуточных рубежах, обеспечили себе тем самым возможность более упорного сопротивления. Преодолеть их сопротивление в короткие сроки можно было, только имея полноценное и правильно распределенное техническое обеспечение…

– …А у нас его не было, не было! – со страстью и горечью произносил Звягинцев. – Каждый метр преодоленного пути, каждую заколоченную под снайперским огнем противника сваю, каждый пролет наведенного моста нам приходилось оплачивать большой кровью… Мы не жалуемся, нет, – еще более волнуясь, продолжал Звягинцев, – мы знаем, что война – это и кровь и лишения. Но если бы мы имели достаточно инженерной техники, имели бы по-настоящему подвижные саперные части, тогда…

И в этот момент Звягинцева прервал Сталин. Звягинцев не видел Сталина и не догадался, что тот хочет что-то сказать. Поэтому, несмотря на то что весь зал видел, как Сталин подошел к дальнему торцу стола президиума, чуть выступив на авансцену, и плавным движением приподнял перед собой руку с зажатой в кулаке трубкой, как делал тогда, когда хотел обратиться к оратору, – Звягинцев тем не менее продолжал свою речь. Более того, даже заметив, что все взоры, все внимание зала переместилось куда-то в сторону, даже сообразив наконец, что Сталин хочет что-то сказать, Звягинцев все же говорил не умолкая.

Он просто испугался, что ему не дадут высказать того главного, ради чего он поднялся на эту трибуну, и продолжал говорить все быстрее и быстрее.

Он умолк только тогда, когда отчетливо увидел, что все, кто был в зале, повернули головы влево, к Сталину. Тогда наконец Звягинцев понял всю бестактность своего поведения, почувствовал, как загорелось его лицо, и остановился на полуслове, так и не закончив начатую мысль.

И тут он услышал тихий, лишенный каких-либо интонаций голос Сталина:

– А скажите, товарищ Звягинцев, вы, следовательно, считаете, что инженерные войска должны обладать техникой такой же подвижности, как и все остальные рода войск? Мы вас правильно поняли?

Несколько мгновений Звягинцев молчал. Он был настолько смущен, ошарашен обращением к нему Сталина, что даже не вник в сущность его вопроса. Ему показалось, что Сталин намеревается еще что-то сказать и ему, Звягинцеву, теперь надлежит молчать. Молчать и слушать.

Но уже очень скоро по напряженной тишине в зале, по лицам людей, снова обративших на него свои взоры, он понял, что надо отвечать, немедленно отвечать.

«Что же он меня спросил? Что?!» – мысленно и с отчаянием старался вспомнить Звягинцев. «Ах да, ну конечно, подвижность инженерных войск!» – в следующую же секунду повторил он про себя.

И тогда очень громко сказал:

– Конечно, товарищ Сталин, именно так!

И поспешно добавил, как бы беспокоясь, что Сталин не поймет смысла его ответа:

– Ведь только в этом случае мы сможем обеспечить быстрое движение другим родам войск, особенно танкам и артиллерии.

Сталин сделал движение рукой с зажатой в ней трубкой, которое могло означать все что угодно, в том числе и то, что он разделяет точку зрения Звягинцева. Но тому показалось, что Сталин все же не понял его.

И тогда, боясь, что сейчас Сталин скажет нечто такое, что опровергнет его мысль, откинет ее как нечто несущественное, Звягинцев стал торопливо и сбивчиво говорить о том, что происходит на поле боя, когда танки и бронемашины уходят вперед, а потом беспомощно останавливаются перед взорванными мостами, надолбами и противотанковыми рвами, потому что нет саперов, потому что они остались где-то далеко позади или у них нет механизмов для скоростных работ…

Он очнулся, только уже сидя на своем месте. Не помнил, как кончил свою речь, как шел по проходу к своему дальнему ряду.

На трибуне стоял уже другой оратор, генерал, фамилию которого Звягинцев не расслышал, да он и вообще ничего не слышал и не видел, будучи весь под впечатлением всего происшедшего и еще не чувствуя того огромного облегчения, которое пришло несколькими минутами позже.

Последним на совещании выступил Сталин.

…И вот теперь, сидя в номере, куда его так неожиданно перевели и который фактически был ему уже не нужен, слушая настойчивые вопросы своего сослуживца по штабу округа, полковника Королева, Звягинцев снова и снова пытался восстановить в своей памяти то, что сказал Сталин, – не ту реплику, нет, а всю речь.

Он не записывал ее, как это делали все соседи по ряду. Сам факт, что он, Звягинцев, непосредственно слушает Сталина, захватил его целиком. Он только слушал и смотрел на Сталина, стараясь не пропустить не только ни одного его слова, но запомнить все: облик, движение руки, манеру говорить…

Но было и нечто другое, что мешало Звягинцеву записывать речь.

Дело заключалось в том, что уже после первых произнесенных Сталиным фраз – и чем дальше, тем больше, сильнее – Звягинцев ощутил, что за всем тем, что Сталин произносил вслух, скрывалась какая-то главная, еще не высказанная мысль, какой-то скрытый подтекст.

Звягинцев понял его не сразу.

Сталин говорил о том, что еще предстоит сделать для улучшения боевой подготовки командного, особенно младшего, состава армии, о дисциплине, политической работе, об усилении минометного вооружения, о взаимодействии родов войск, о том, что культ традиций и опыта гражданской войны помешал нашему командному составу быстро перестроиться на новый лад, перейти на рельсы современной войны, и многое другое, чего Звягинцев сейчас не мог вспомнить. Да, он говорил и о финской войне, и все примеры его, все факты, на которые ссылался, были взяты из практики недавних боев.

И все же за всем тем, что говорил Сталин, – Звягинцев хорошо ощутил это – стояла какая-то прямо не высказанная, но главная, тревожная мысль.

И когда она, эта мысль, дошла наконец до Звягинцева, все его внимание сосредоточилось именно на ней, на этой главной мысли, которая, точно подводная лодка, то чуть всплывала над поверхностью, то уходила вглубь.

И теперь уже у Звягинцева не было сомнений в том, что, говоря о финской кампании, Сталин все время думал о другой, несравненно более опасной, несравнимой по масштабам решающей битве, которая нам предстоит и о которой все эти годы неотступно размышлял каждый военный человек: о неизбежности войны с гитлеровской Германией. Мысль об этом сквозила в речи Сталина уже совсем очевидно, когда он стал говорить о том, что гитлеровская военная машина во много раз сильнее финской.

Казалось, Сталин хочет, чтобы все присутствующие в этом зале, вся армия, весь народ поняли, что предстоит страшная, истребительная война, противоборство двух систем, двух непримиримых идеологий – коммунистической и фашистской.

Под впечатлением этой главной, решающей мысли находился сейчас Звягинцев, и от нее, сам того не сознавая, его настойчиво отвлекал Королев.

– …Значит, не помнишь слов товарища Сталина? – снова спросил полковник. – Вроде бы склероз у тебя не по возрасту. Ну ладно, – он безнадежно махнул рукой, – придется у других спросить. Ну так или иначе – поздравляю! Выпьем, что ли, по этому поводу?

Они выпили. Королев подхватил вилкой ломтик селедки и, похрустывая луком, продолжал:

– Конечно, если бы он в своей речи прямо тебя поддержал – считай себя завтра уже подполковником. Впрочем, и так – чем черт не шутит! На таком совещании слово дали, его, – он с ударением произнес это местоимение, – внимание привлек, шутка ли! Интенданты-то, видишь, четко сработали! – Он подмигнул и оглядел номер. – Есть и полковники, которых по двое расселили. А тут… словом, давай по второй!

Они снова выпили.

Королев расстегнул воротник гимнастерки, расслабил поясной ремень и, откинувшись на спинку стула, спросил:

– Ну а какой ты сделал вывод из его речи?

– Надо укреплять армию, – задумчиво ответил Звягинцев.

– Ну это ясный факт, – нетерпеливо заметил Королев, – только я сейчас не об этом. Как полагаешь, перемены будут?

Звягинцев вопросительно поглядел на него.

– Ну что ты, маленький, что ли? – недовольно продолжал Королев. – Я наш округ имею в виду. Перемещения будут? Ну… и вообще. А? По-моему, неизбежно.

Он снова склонился над столом, деловито разлил коньяк по рюмкам и принялся за бифштекс.

– Я сделал иной вывод, – сказал Звягинцев. – По-моему, неизбежно другое. Придется воевать с Гитлером.

– О-то-то-то! – рассмеялся Королев, поднимая вилку с куском мяса. – Скажите, какой пророк! Конечно придется! Рано или поздно. Это и ребенку ясно.

– Хорошо, если бы не рано… и не поздно, – тихо сказал Звягинцев.

Лицо Королева внезапно стало серьезным.

– Это ты, пожалуй, прав, – сказал Королев, расправляя складки на ставшем влажным белом подворотничке. – Сейчас, кажись бы, и рановато, а? Вот кое-какие выводы для себя сделаем, тогда пускай лезут. Ладно, – он махнул рукой, – давай мясо есть, остынет.

Он придвинулся поближе к столу и снова принялся за бифштекс. Некоторое время они ели молча. Королев шумно и с аппетитом, Звягинцев нехотя ковырял вилкой жесткое мясо. Наконец он отодвинул тарелку.

Поведение Королева, его манера разговаривать раздражали Звягинцева. Он считал заместителя начальника штаба неглупым человеком и военным до мозга костей. Казалось, что он родился в сапогах и гимнастерке – представить его себе в пиджаке и брюках навыпуск Звягинцев просто не мог. Вся сознательная жизнь Королева – это было хорошо известно работникам штаба – прошла в армии. И все его интересы, все мысли были всегда связаны с армией. Звягинцев знал об этом. Но то, что Королев сейчас, после такого совещания, когда речь шла о делах, жизненно важных не только для армии, но и для всей страны, разговаривал с ним в такой подчеркнуто беспечной, даже фанфаронистой манере, раздражало Звягинцева. «Может быть, он так говорит со мной потому, что хочет, так сказать, поставить на место? – подумал он. – Боится, что зазнаюсь? Хочет подчеркнуть, что, хотя я и получил слово на таком ответственном совещании, для него, полковника, участника Гражданской войны, все же остаюсь мальчишкой, из молодых, да ранний?»

Эта мысль, разумеется, не только не успокоила Звягинцева, но еще больше распалила его.

– Не понимаю, Павел Максимович, – сказал он, – неужели именно в такую минуту у тебя разыгрался аппетит?

– А что? – грубовато переспросил Королев. – Для солдата подзаправиться – первое дело. Голодный солдат – не солдат, советую усвоить.

«Не хочет говорить всерьез, – с еще большей обидой подумал Звягинцев. – Шуточками отделывается. Полагает, что до серьезного разговора я еще не дорос».

И чем больше думал об этом Звягинцев, тем больше ему хотелось заставить Королева заговорить именно всерьез.

– Вот ты, Павел Максимович, сказал, что надо сделать для себя кое-какие выводы, – снова пошел в наступление Звягинцев, – но какие? Что ты имеешь в виду?

Королев на мгновение оторвал взгляд от тарелки, поднял голову и, как показалось Звягинцеву, поглядел на него с едва заметной иронически-снисходительной усмешкой.

– Какие выводы? – переспросил он, пожимая своими широкими, плотно обтянутыми гимнастеркой плечами. – Так ведь ты эти выводы уже сам сделал! Придется воевать.

И хотя он произнес эти слова по-прежнему иронически-беспечным тоном, явно противоречащим их смыслу, Звягинцев поспешно ухватился именно за их смысл.

– Вот-вот! – воскликнул он. – А мы?..

И он настороженно-вопросительно посмотрел на Королева.

Тот снова поднял голову. Они встретились взглядами. На этот раз Звягинцев не увидел на лице полковника ничего, что напоминало бы усмешку или даже улыбку.

– Что мы? – неожиданно хмуро и даже подозрительно переспросил Королев. – Все, что страна в состоянии дать армии, она ей дает.

– Павел Максимович, – решительно и с обидой в голосе сказал Звягинцев, – ну зачем ты так?! Ведь ты же отлично понимаешь, про что я говорю! Если не хочешь удостоить меня серьезного разговора, тогда так и скажи.

Королев усмехнулся.

– У-до-стоить! – растягивая слоги, повторил он. – Вишь, слово-то какое придумал! Что я тебе – князь или фон-барон какой, чтобы у-до-стаивать?

– Но тогда зачем же ты уходишь от разговора? – с горячностью воскликнул Звягинцев.

– А я никуда не ухожу. Видишь, здесь сижу, перед тобой.

Плоскость этой остроты лишь подзадорила Звягинцева.

– Нет, уходишь! – с еще большей настойчивостью повторил он. – И это… неправильно! С кем же мне поговорить, как не с тобой! Ведь мы служим вместе, вместе были в Кремле, ведь товарищ Сталин и к нам с тобой обращался!.. Это же не могло не дать толчок мыслям! А ты…

– А что я? – по-бычьи наклонив голову, прервал его Королев. – Я, как видишь, сижу, слушаю, интересуюсь, в какую сторону твои мысли от толчка тронулись. Давай докладывай, философ.

Он произнес это слово с ироническим ударением на последнем слоге.

– При чем тут философия! Я хочу говорить о вещах сугубо практических, о таких, с которыми вся наша жизнь связана! И жизнь, и долг! Ты что же, полагаешь, если я сапер, инженер, так мне дальше носа и видеть не положено? И если…

– Да хватит тебе оправдываться! – нетерпеливо прервал его Королев. – Говори, что хочешь сказать!

– Хорошо, я скажу, – взволнованно произнес Звягинцев. Он помолчал некоторое время, собираясь с мыслями. – Значит, война неизбежна. Так?

– Ну допустим, что так, – согласился Королев.

– Значит, она может начаться и завтра. Верно?

– Насчет «завтра», по-моему, загибаешь. Но теоретически – допустим. И что дальше?

– А дальше возникает неизбежный вопрос: готовы ли мы? Я, естественно, про наш округ говорю, об остальных не знаю и знать не могу. Да и в своем мне ближе всего инженерные войска, укрепления и все такое прочее. Вот мы сейчас итоги финской кампании подводим, верно? А ты уверен, что будущая война будет во всем похожа на финскую?

– Дураков нет так считать.

– Но ведь, судя по всему, кое-кто так считает! Как будто нам и в той войне надо будет повсюду линии Маннергейма прорывать!

– Не понимаю.

– Ах, ну как же ты не понимаешь! Ведь нам сейчас в округ только орудия крупных калибров и гонят! А зенитки? А противотанковые? Много ты их видел? А самолетов – ты полагаешь, их достаточно? Послушай, Павел Максимович, – понижая голос и наклоняясь над столом, сказал Звягинцев, – ты уверен, что мы с той установкой покончили?

– Какой еще установкой?

– Ну вот насчет того, чтобы только «малой кровью» и только на чужой территории?

– Вот что, Звягинцев, – сказал Королев, и в голосе его зазвучали новые, холодно-строгие интонации, – ты эту демагогию брось. Тебе, как штабному работнику и члену партбюро, отлично известно, что партия такую установку осудила как самоуспокаивающую. Так что болтовню прекрати! – неожиданно громко выкрикнул он и ударил по столу своей широкой ладонью.

Звягинцев посмотрел на него недоуменно и растерянно, стараясь сообразить, что могло вызвать у Королева такую вспышку гнева.

Но Королев молчал, только лицо его пошло красными пятнами.

– Не понимаю, чего ты сердишься, – нерешительно произнес Звягинцев, – я, кажется, не сказал ничего такого…

Он выжидающе смотрел на Королева, но тот молчал.

«Поразительный человек! – про себя усмехнулся Звягинцев. – Одно только критическое упоминание о какой-либо официальной установке способно привести его в ярость. Даже если эта установка столь же официально раскритикована».

Да, лозунг победы «малой кровью» немедленно вслед за окончанием тяжелой и изнурительной финской кампании был осужден Центральным комитетом как неправильный, ориентирующий армию на легкую победу.

Но, внедрявшийся в течение долгих лет, он, естественно, не мог не оставить следа в сознании сотен тысяч бойцов и командиров Красной армии. И ничего крамольного в том, что он, Звягинцев, напомнил об этом, высказал опасение, не было.

Однако на Королева слова эти произвели совершенно неожиданный для Звягинцева эффект. Он считал полковника человеком честным, неглупым, хотя и с хитрецой, прямым, но свято придерживающимся принципов военной субординации. Его реакция на, казалось бы, невинную критику недавно популярной в армии установки, ныне самой партией осужденной, неприятно поразила Звягинцева.

А Королев все еще молчал, сосредоточенно и зло глядя на Звягинцева, и тому казалось, что полковник ищет слова, которые наиболее полно выразят его возмущение. Но Звягинцев ошибался. Потому что в эти минуты молчания Королев думал совсем о другом. О том, чего в силу своего невысокого служебного положения не мог знать Звягинцев.

Полковник вспомнил, как несколько месяцев тому назад командующий и член Военного совета вызвал к себе руководящий состав штаба округа, чтобы информировать их о состоявшемся в Москве заседании Главного военного совета. Речь на заседании шла о плане военных действий против Финляндии, поскольку все попытки правительства разрешить мирным путем вопросы безопасности северо-западных границ страны не дали положительных результатов и вооруженные провокации финнов на границе продолжались.

Информация командующего была сухой и сжатой. Однако из нее следовало, что план, разработанный под руководством начальника Генштаба маршала Шапошникова, был подвергнут резкой критике Сталиным. Шапошникову ставились в вину недооценка военной мощи Красной армии и переоценка возможностей армии финской. Его план был отвергнут.

Но главное для Королева и всех присутствующих на совещании у командующего заключалось в том, что именно руководству Ленинградского военного округа и поручалось составить новый план финской кампании, а в основу его положить критику и замечания Главного военного совета.

В составлении этого плана, в основу которого и лег принцип воевать «малой кровью», то есть расчет на быстрый разгром врага ограниченными силами и без сосредоточения необходимых резервов, приняли участие десятки работников штаба округа, в том числе и Звягинцев.

Однако лишь немногие из них, и уж конечно не Звягинцев, знали о том, другом, отвергнутом плане.

Но Королев был среди этих немногих. И мысли его возвращались к нему не раз, когда читал фронтовые сводки, когда беседовал с прибывающими с Карельского перешейка обмороженными, надрывно кашляющими командирами. Он видел перед собой занесенные снегом дороги, по которым медленно, неся большие потери от артиллерии, снайперского огня и сорокаградусных морозов, продвигались части Красной армии. И ему, Королеву, и другим руководителям штаба было уже ясно, что допущена серьезная ошибка, что, очевидно, тот, другой, отвергнутый в Москве план был более правильным. И все же он никогда не позволил бы себе признать это вслух…

Тот день, когда в Москве решили, что следует вернуться к старому плану, когда были подтянуты необходимые резервы и дополнительное вооружение и войска Северо-Западного фронта, созданного на базе Ленинградского военного округа, при поддержке флота и авиации смогли перейти в решительное наступление, – тот день был для Королева праздником.

Прорыв линии Маннергейма, предопределивший победу наших войск, помог ему изжить горечь первых бесконечных недель войны.

Он старался не вспоминать о прошлом, убеждая себя в том, что из событий сделаны все необходимые выводы.

…Но сейчас вопрос, задиристо поставленный Звягинцевым, этим юнцом, не знающим всего того, что пришлось молча пережить Королеву, привел его в ярость. Он любил Звягинцева, считал его способным штабистом и смелым командиром, хотя с некоторой опаской относился к его горячности и склонности к рассуждениям. В этих случаях он грубовато-добродушно обрывал Звягинцева словами: «Ладно, не завихряйся!»

Но сейчас Королеву не удалось сдержать себя…

А Звягинцев, которого неожиданно больно поразил этот, казалось бы, необъяснимый взрыв ярости Королева, глядел на него и думал: «Неужели с ним нельзя поговорить по душам? Неужели каждый раз, когда я осмелюсь выйти за пределы субординации и рассуждать о делах, „не положенных“ мне по чину, он всегда будет превращаться вот в такого бурбона-службиста?.. А ведь я о многом хотел поговорить с ним. Хотел спросить, считает ли он в свете того, что сегодня сказал Сталин, достаточными наши укрепления на севере? И не собирается ли командование придвинуть поближе к границе полевые части? И можно ли надеяться, что в войска скоро поступят новые танки, эти „Т-34“, опытные экземпляры которых, оснащенные замечательным вооружением и превосходной броней, мне однажды удалось видеть в частях?»

…Теперь, после речи Сталина, судя по всему убежденного в неотвратимости грядущей войны, в мыслях Звягинцева роились десятки вопросов, в том числе и такие, которые раньше не приходили ему в голову. Он смотрел на все еще кипящего от негодования Королева и думал: «Ну хорошо. Ты старый, опытный военный. А много ли таких осталось в частях округа? Ведь кому-кому, а тебе-то хорошо известно, что по известным нам причинам почти две трети командиров дивизий и полков – это новые, не больше года работающие люди. Правда, они приобрели опыт финской войны. Но достаточно ли этого опыта для той, грядущей?..»

Звягинцев мысленно усмехнулся, представив себе, как реагировал бы Королев на подобные мысли, если бы они были высказаны вслух.

А Королев в то же самое время, постепенно овладевая собой, с горечью думал о том, каким странным и необъяснимым показался, наверное, Звягинцеву его неожиданный срыв.

Однако он ни за что, ни под каким предлогом не позволил бы себе объяснить его истинную причину. О том, что наши расчеты на быструю войну, на скорую капитуляцию финнов не оправдались, знали и понимали все те, кто был на Карельском перешейке. Но они не знали и не должны были знать, что существовал другой план войны и, возможно, будь он принят, мы могли бы победить скорее и с меньшими потерями. И не он, Королев, станет тем человеком, который посеет в душе Звягинцева малейшие сомнения в действиях высшего командования.

…Таковы были мысли этих двух человек, сидевших друг против друга за маленьким круглым столиком в ярко освещенном номере гостиницы «Москва» весной 1940 года.

Первым нарушил молчание Звягинцев.

– Ладно, Павел Максимович, – примирительно сказал он, – может, я действительно что не так сказал.

– То-то и оно, – буркнул Королев, понимая, что Звягинцев говорит сейчас не то, что думает, а он, Королев, не то, что мог бы и хотел ответить. И добавил: – Давай жуй, а то остынет.

Но Звягинцев по-прежнему сидел неподвижно.

– Чего не ешь? Всё мысли обуревают? – уже в прежней своей иронически-снисходительной манере спросил Королев.

– Обуревают, – серьезно ответил Звягинцев.

Он уже примирился с тем, что Королев не станет обсуждать вопросы, которые так или иначе, в самом ли деле или только в его воображении могут задеть престиж высшего командования. Теперь майор думал о другом. Это «другое», так же как и все волнующие его сейчас мысли, тоже было связано с грядущей войной. Но сейчас он размышлял о ней уже не как военный, а просто как человек, обыкновенный советский человек, со школьных лет убежденный в том, что нет ничего дороже и справедливее тех идеалов, которым посвящена жизнь миллионов его соотечественников.

– Послушай, Павел Максимович, – сказал Звягинцев, – а все-таки как это может быть?

– Что? – настороженно переспросил Королев.

– Ну вот… как бы тебе сказать… – Звягинцев поморщил лоб и пошевелил пальцами, точно пытаясь ухватить, сформулировать еще не окончательно созревшую в его мозгу мысль. – Ты, конечно, согласен, что идеи, которые исповедует Гитлер, – это подлые, гнусные идеи?

– Факт, – охотно согласился Королев, внутренне довольный, что разговор перешел на менее рискованную тему.

– Так неужели же немцы пойдут за них умирать? – спросил Звягинцев.

Королев встал. Он подтянул свой ослабленный ремень, застегнул воротник гимнастерки и спросил в упор:

– К чему клонишь, майор?

– Ни к чему. Я просто хочу понять: неужели найдется много людей, готовых отдать жизнь за неправое дело?

– Сейчас, может быть, и готовы… – неожиданно задумчиво сказал Королев.

– Что значит «сейчас»? – нетерпеливо спросил Звягинцев.

– Вижу, что не понял, – с усмешкой произнес Королев, – а еще в психологи метишь. Ладно. Скажу яснее. Пока за спиной фашиста сила, он пойдет… И помереть может сгоряча. А идея настоящая чем измеряется? Сознательной готовностью жизнь за нее отдать. И не только когда на твоей стороне сила, и не только сгоряча, а вот так, один на один со смертью. Коммунист может. А фашист на такое не способен.

– Полагаешь, что руки вверх поднимут?

– Нет, не полагаю. До поры до времени не поднимут. Будут переть и орать: «Хайль Гитлер!» А вот когда мы их поскребем до самых печенок, тогда все их идеи и кончатся.

– И тогда руки вверх?

– Нет. Еще нет. Страх останется. Животный страх: умирать-то никому не хочется. За жизнь борясь, можно и в глотку вцепиться. Только это уж будет не то. Последнее издыхание. И умирать будет фашист, как собака. Да и что фашисту перед смертью людям сказать? «Хайль»? Или «Да здравствует мировое господство»? Не получается. Не звучит!.. Вот тебе и ответ на твой вопрос: не идеей Гитлер свои миллионы навербовал. Сладкую жизнь пообещал. Грабь другие народы и живи, наслаждайся!

– Но как же ему удалось?.. – упорно продолжал спрашивать Звягинцев.

– Да что ты, дурачишь меня, что ли, в самом-то деле! – воскликнул Королев. – Кто тебя в академии учил? Разъяснений от меня хочешь? На, получай! – Он поднял согнутую в локте руку и стал говорить, по очереди загибая пальцы: – Гитлер умело использовал ситуацию, в которой Германия оказалась после поражения в Первой мировой. Это раз. Империализм, вермахт немецкий сделал свою последнюю ставку. На фашизм. Дали ему миллионы рублей… Ну этих самых… марок. Это два. И для международного империализма Гитлер выгоден. Оплот против коммунизма. Это три. Вот тебе и вся механика. Ясно?

Звягинцев подошел к окну, отдернул штору.

Там, за окном, шумел Охотный. Мчались машины, пугая гудками прохожих, высокие квадратные «эмки» и длинные, вытянутые «ЗИС-101», недавняя новинка нашей автомобильной промышленности. В доме Совнаркома, напротив, несмотря на то что рабочий день уже кончился, были освещены почти все окна.

И в тот момент другое видение встало перед глазами Звягинцева – затемненный Невский.

И он с тревогой, внезапно ощутив холод во всем теле, подумал: «Неужели это когда-нибудь может случиться и здесь?.. Погаснут огни, исчезнет весь этот живой, светлый мир?..»

И, подумав об этом со страхом, которого не испытывал никогда, даже там, на Карельском, он вспомнил о Вере, племяннице Королева, с которой познакомился совсем недавно, уже после финской войны, когда Королев пригласил его к себе домой, чтобы отпраздновать победу.

…Он не обращал на нее внимания до тех пор, пока Королев не завел патефон и, предложив молодежи танцевать, ушел со своим старшим братом, Иваном Максимовичем, мастером Кировского завода, в другую комнату играть в шахматы.

Молодежи в гостях было мало: кроме него, Звягинцева, только дочка старшего Королева – Вера, ее приятельница со своим знакомым студентом – выпускником консерватории и еще две молодые женщины – соседки Королева по квартире со своими мужьями.

Когда сдвинули стол к стене, чтобы больше было места, и начались танцы, «незанятой» оказалась только Вера – ее приятельница танцевала со своим консерваторским парнем, жены – с мужьями, и Звягинцеву ничего не оставалось, как подойти к одиноко сидящей на диване девушке и пригласить ее.

Она ответила:

– Давайте лучше посидим. – И спросила: – Вы, кажется, недавно с фронта?

Он сел на диван, Вера как-то очень естественно и просто придвинулась ближе и, глядя ему прямо в глаза, снова спросила:

– Наверное, это очень приятно – после всего того, что вы перенесли, посидеть вот так, в тепле, при электрическом свете, правда?

Она задавала свои вопросы без всякой аффектации и кокетства и при этом глядела на Звягинцева внимательным, пристальным взглядом, как бы желая этим подчеркнуть, что для нее очень важно услышать его ответы.

Тем не менее Звягинцев поначалу говорил с Верой рассеянно и полушутливо, украдкой поглядывая на ее красивую подругу, которая самозабвенно танцевала со своим студентом под звуки танго «Черные глаза» – оно вот уже несколько лет не выходило из моды. Худенькая, невысокая Вера с ее по-детски раскрытыми, пристально-любопытными глазами явно проигрывала по сравнению со своей длинноногой, красивой подругой, и Звягинцев с сожалением подумал о том, что с поклонником пришла не Вера, а ее приятельница.

Он несколько раз безуспешно пытался поймать взгляд той другой, а потом, заметив, что Вера по-прежнему терпеливо-выжидающе смотрит на него, сказал:

– Конечно, война не сахар.

И в этот момент увидел в пристальном взгляде Веры что-то похожее на укоризну, точно она ожидала от него совсем другого ответа.

Звягинцев несколько смутился, как человек, обманувший ожидание ребенка, и сказал улыбаясь, что «на войне как на войне», как говорят французы, и на этот раз смутился уже окончательно, потому что понял, что говорит пошлости.

Вера покачала головой и сказала мягко, но убежденно:

– Нет, это не ответ. Я проходила практику в одном из госпиталей. Там лечили обмороженных. Мне приходилось с ними разговаривать. Они рассказывали страшные вещи. Скажите, вы были на самом фронте?

В первое мгновение Звягинцев даже обиделся. Но по лицу Веры было видно, что у нее и в мыслях не было как-то задеть его. Судя по всему, она задавала свои немного наивно звучащие вопросы совершенно искренне.

Тогда он сказал, что провел все три месяца войны на фронте, в инженерных частях.

– А девушек там было много? – спросила Вера.

– Каких девушек? – недоуменно переспросил Звягинцев, но тут же понял, что речь идет о военнослужащих, и ответил, что были и девушки, особенно среди медперсонала.

Понемногу и незаметно для себя Звягинцев втянулся в разговор и уже больше не сожалел, что не танцует с той, длинноногой.

Он почувствовал, что Вера относится к нему с какой-то ласковой заинтересованностью. Звягинцеву это льстило. После трех бесконечных месяцев в снежном бездорожье Карельского перешейка, после ощущения вечного холода, от которого не спасали ни костры, ни железные печки-времянки, он впервые оказался в мирной уютной домашней обстановке, и Вера была первой девушкой, с которой он познакомился после войны и которая отнеслась к нему с такой, казалось бы, искренней заинтересованностью.

Звягинцев не был женат. Он жил вместе с родителями в далеком сибирском городе, когда после окончания средней школы его по комсомольской мобилизации послали в инженерные войска. Потом Звягинцев поступил в Военно-инженерную академию, успешно окончил ее и был направлен на штабную работу.

Он стал капитаном, получил хорошее назначение. Во время финской кампании Звягинцев отличился, был награжден орденом Красной Звезды, стал майором… Однако он так и не успел обзавестись семьей.

Разумеется, у него были увлечения и до Веры. Но встреча с ней произошла именно в тот момент, когда измученный бессонными ночами, смертельно уставший Звягинцев всем своим существом потянулся бы к любой девушке, проявившей к нему внимание.

…Отец Веры ушел домой рано, а когда стали расходиться и остальные гости, Звягинцев попросил у Веры разрешения проводить ее.

Полковник Королев жил на Литейном, а Вера бог знает где, за Нарвской заставой, они поехали на автобусе, но остановки за две-три до Нарвской Звягинцев уговорил Веру сойти, и остальной путь они прошли пешком.

С полчаса посидели в скверике. Казалось, что там, у Королевых, и теперь, по дороге к Вериному дому, они уже успели поговорить обо всем на свете. Звягинцев теперь знал, что Вера учится в медицинском институте, что ей двадцать лет, что она не замужем, что в недалеком будущем станет врачом по детским болезням, что из недавно прочитанных книг ей больше всего понравился «Танкер „Дербент“», что она любит стихи, из поэтов прошлого ей ближе всех Блок, а из современных – Дмитрий Кедрин…

Когда они сидели в скверике, Вера неожиданно спросила:

– Как вы думаете, я смогла бы… ну… быть на фронте?

Звягинцев шутливо ответил, что раз выбрала такую специальность, то смогла бы, поскольку женщины-врачи призываются наравне с мужчинами.

Но Вера сказала:

– Нет, я не о том. Просто мне интересно: смогла бы я выдержать?..

Неожиданно для себя Звягинцев представил себе Веру там, на вьюжных дорогах Карелии, измученную, продрогшую, и вдруг ему стало жалко ее.

Он дотронулся до ее руки, потом положил свою широкую ладонь на ее маленькие пальцы как бы для того, чтобы согреть, хотя было не холодно, приближалась весна.

Она не убрала руку и, казалось даже не замечая прикосновения Звягинцева, глядела куда-то вдаль, занятая своими мыслями.

Потом как будто вернулась на землю, легким, едва ощутимым движением освободила свою руку, улыбнулась и сказала:

– Как это, наверное, хорошо – вернуться из этого ада в ярко освещенный, мирный город… А знаете, Алексей, я вам завидую!

– Ну, завидовать тут нечему, – сказал Звягинцев, думая, что она имеет в виду его пребывание на фронте, – каждый делает то, что ему положено. А я человек военный.

– Нет, я не об этом, – тихо ответила Вера. – Просто вы видите теперь все другими глазами. И эти улицы, фонари и людей… Видите то, чего не вижу я… Вам не кажется, Алеша, что эта избитая фраза о том, что все познается в сравнении, приобрела теперь для вас и для всех тех, кто был на фронте, особый смысл? Вы ведь заглянули в другой мир, ну, в какое-то иное измерение… А потом вернулись в наше. И вам все должно видеться иначе. Огни – светлее, краски – ярче…

…У подъезда дома, где жила Вера, они еще несколько минут постояли.

– Ну вот, а теперь надо прощаться, – сказала Вера и добавила: – Я очень рада, что мы… познакомились.

Она протянула ему руку, он на мгновение задержал в своей ладони ее маленькую, узкую кисть.

Потом Звягинцев одиноко стоял у подъезда, в котором несколько секунд назад скрылась Вера, и с недоумением прислушивался к овладевшему им ощущению пустоты.

И все же тогда Звягинцев не придавал особого значения этой встрече.

Он добрался домой очень поздно – хорошо, что предстояло воскресенье и можно было выспаться, – лег в постель, убежденный, что, проснувшись, даже не вспомнит о Вере, но утром открыл глаза снова с мыслью о ней, будто думал о Вере даже во сне. «Чепуха, – внушал себе Звягинцев, – все-то я придумываю. Ничего в ней нет особенного, в этой девице. Впрочем, может быть, и есть, только я ничего этого и увидеть-то не мог. И что между нами было? Немного поговорили, потом ехали в автобусе, потом шли пешком минут двадцать, не больше, посидели в сквере… Черт побери, да я и вел-то себя с ней во сто раз скромнее, чем с любой другой, которая бы мне понравилась. Шли домой, как школьники, даже не под руку. И ни о чем таком не говорили. Никакого флирта, никаких слов со значением или, как теперь становится модным говорить, с подтекстом. Так в чем же дело? Почему я все думаю о ней?»

Прошло еще несколько дней, и Звягинцев понял, что очень хочет снова увидеть Веру. Он уговаривал себя, что должен встретиться с ней лишь для того, чтобы перестать о ней думать, увидеть в последний раз и забыть.

Но он не знал номера ее телефона, тогда, при встрече, даже не спросил, есть ли у нее телефон.

Оставалась лишь одна возможность – выудить номер у Королева.

Он зашел в кабинет полковника, поговорил о делах, потом с подчеркнутым безразличием сказал, что в то прошлое воскресенье Вера просила его выяснить, продается ли в Эрмитаже цветной каталог картин, он согласился, узнал, поскольку Эрмитаж рядом – вон, виден из окна, и теперь просит передать…

Разумеется, Королев мог согласиться выполнить поручение, и тогда Звягинцев оказался бы в дураках: ему оставалось бы только воображать, с каким недоумением слушала бы Вера полковника, когда тот повторял бы ей всю эту чепуху об Эрмитаже.

Однако был шанс выиграть эту игру, и Звягинцев выиграл. Королев, скользя взглядом по разложенным перед ним на столе картам, рассеянно сказал Звягинцеву, что тот может сам доложить о выполнении поручения.

Звягинцев равнодушно заметил, что не знает номера телефона Веры, и Королев автоматически этот номер назвал.

Вечером он ей позвонил. Долго обдумывал свою первую фразу и остановился на грубовато-шутливой: «Товарищ Вера? Докладывает некий майор Звягинцев…»

Она, видимо, обрадовалась, услышав его голос. Они встретились и не по сезону поехали на Острова, в парк. Звягинцеву показалось, что Вера выглядит гораздо привлекательнее, чем прошлый раз. На ней было узкое, перехваченное в талии, хорошо сшитое пальто, берет она держала в руке, и ветер слегка шевелил ее мягкие, расчесанные на косой пробор светлые волосы.

Они зашли в кафе, затем уселись на одиноко стоящей скамейке, и тогда Звягинцев попытался обнять Веру и притянуть к себе.

Но тут произошло то, чего он вовсе не ожидал. Вера взглянула на него с удивлением, точно впервые увидела, потом мягко, но решительно освободилась от его рук, посмотрела на него своими широко раскрытыми глазами, покачала головой и сказала:

– Этого не надо, Алеша.

Звягинцев не придал ее жесту и словам особого значения и через несколько минут повторил свою попытку. На этот раз Вера не сделала ни одного движения, а только сказала:

– Я же просила вас, Алеша, не надо!

Она произнесла это каким-то новым, изменившимся голосом, сухим и безразличным, и это подействовало на Звягинцева сильнее, чем если бы Вера его оттолкнула.

Он покорно опустил руки, чувствуя, как между ними мгновенно возникла прозрачная, но непреодолимая стена.

Некоторое время они молчали, потом Вера сказала:

– Я все понимаю, Алеша. Я, наверное, обидела вас. Мне было очень хорошо с вами. Но… иначе. А это – другое…

Возникшее между ними отчуждение уже не исчезало. Он проводил Веру домой на такси, они попрощались, не договариваясь о новой встрече.

…И все же он вскоре снова позвонил ей, через неделю.

– Вера, здравствуйте, – сказал Звягинцев. – Это я… Вы, конечно, уже забыли…

Он сам напросился к ней в гости. Выдумал какую-то байку о том, что оказался в ее районе, совсем недалеко, и, получив согласие, опрометью кинулся вон из телефонной будки, чтобы поймать такси и приехать в правдоподобно короткий срок.

По дороге думал о том, застанет ли Веру одну или дома родители, если да, то как ему себя с ними вести.

Все произошло не так, как он мог себе представить. Родителей Веры дома не оказалось, но она была не одна. Навстречу Звягинцеву поднялся рослый, красивый парень спортивного типа, чуть сощурил глаза, протягивая руку и называя себя не по имени, как принято среди молодежи, а по фамилии:

– Валицкий…

Уже через несколько минут Звягинцев понял, что был здесь лишним, что приглашен просто так, из вежливости, – уж слишком он был настойчив.

Этот Валицкий, которого Вера время от времени называла Толенька, казалось, своим ростом, своим голосом, своим смехом заполнил всю комнату. Он как бы стоял между Звягинцевым и Верой, заслонив ее собственной особой всю, целиком.

Звягинцев вскоре ушел. Спускаясь по лестнице, злой, обиженный, смущенный, он пытался успокоить себя:

«Ну и хорошо. Ну и ладно. По крайней мере, теперь я могу выкинуть все это из головы. Подумать только – свалять такого дурака! Целую неделю ходил сам не свой только потому, что в голову взбрела шальная мысль. Да ей просто наплевать на меня! На кой черт я ей позвонил, напросился прийти… Ладно, дураков учат».

К концу этого внутреннего монолога Звягинцев был уже убежден, что относится к Вере совершенно безразлично.

Но он ошибся и на этот раз.

Позднее, когда Звягинцев снова и снова пытался анализировать свои чувства и спрашивать себя, что привлекает его в Вере, он отвечал на него одним словом: «Беззащитность».

Да, да, Вера казалась ему именно такой. Он почувствовал это тогда, когда увидел ее рядом с Анатолием. Казалось, что огромный, самоуверенный парень может делать с ней все что захочет. Он подавлял ее.

Как? Почему? Чем?.. На эти вопросы Звягинцев не смог бы ответить. Его ощущение было интуитивным, не основанным на каких-то конкретных фактах. Может быть, ему даже было приятно, даже хотелось думать о том, что Вера нуждается в его помощи. Но, судя по всему, она в ней не нуждалась…

За это время Звягинцев все же не раз звонил ей по телефону, дважды уговорил пойти с ним в театр…

Он как-то свыкся с мыслью, что рано или поздно станет ей нужен, что когда-нибудь ей будет угрожать какая-то опасность или что-то в этом роде и тогда она посмотрит на него совсем другими глазами.

…Она избегала встреч. Он понимал это. И все же хотел ее видеть. Пусть редко. Звонил ей по телефону. Ему отвечали, что ее нет дома. Снова звонил…

Иногда ему удавалось заставить себя не думать о ней. Но ненадолго. И тогда он опять звонил.

Но все оставалось по-старому…

«…И что будет тогда с ней?» – мысленно спросил себя Звягинцев, стоя у открытого окна и глядя на ярко освещенную, заполненную гуляющими людьми улицу.

Но в этот момент слова Королева оторвали его от тяжелых раздумий.

– Послушай, майор, – глухим, несвойственным ему голосом сказал Королев, – ты что полагаешь… он… ну… он уверен, что придется воевать? Считает, что будем?.. Наверняка?

– Думаю, что уверен, – твердо ответил Звягинцев.

С минуту они молчали.

– Ладно, – сказал Королев, расправляя складки своей гимнастерки и снова подходя к столу. – Тогда давай выпьем по последней, и я пойду чемодан уложу. – Он посмотрел на часы. – Через сорок минут на вокзал…

II

12 ноября 1940 года по Унтер-ден-Линден, некогда одной из самых красивых и многолюдных улиц холодного, чопорного Берлина, двигался автомобильный кортеж – четыре черных «мерседеса».

Впереди ехали мотоциклисты в форме СС, но в стальных касках. Над фарами первого «мерседеса» развевались флажки: немецкий со свастикой и советский с серпом и молотом.

В первой машине ехал глава советской делегации, нарком по иностранным делам Советского Союза Молотов и с ним министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп. Они расположились по углам просторного заднего сиденья, а их переводчики – впереди, на откидных креслах.

Нарком молчал. Он сидел неподвижно, в застегнутом на все пуговицы черном однобортном пальто, в темно-серой шляпе с твердыми, чуть загнутыми полями, устремив свой неподвижный взгляд вперед.

Это раздражало Риббентропа. «Конечно, – размышлял он, – министр обижен тем холодно-формальным приемом, который только что был оказан ему на Ангальтском вокзале». Что ж, все было разыграно как по нотам. Фюрер сам определил церемониал встречи. Не слишком крепкие рукопожатия. Никаких улыбок. Никого из высших сановников или генералов, кроме Риббентропа и Кейтеля, только второстепенные чиновники министерства и работники советского посольства. Два небольших советских флага по обе стороны вокзального здания. Несколько больших, тяжелых знамен со свастикой – посередине. Проход почетного караула должен быть грозным, величественным и неотвратимым, как девятый вал.

Фюрер хотел, чтобы этот человек, советский нарком, едва ступив на перрон, понял, что приехал в центр Третьего рейха, в столицу великой Германии. Он должен быть поражен, подавлен мрачным величием этого государства, должен сразу же понять, что здесь привыкли не столько слушать, сколько повелевать. Все было рассчитано на то, чтобы с первых же минут подавить воображение этого невысокого педантичного человека в старомодном пенсне.

Но, казалось, нарком был готов к такому приему. Здороваясь, чуть приподнял шляпу. Пожимая руку Риббентропа, едва прикоснулся к ней своими холодными, будто негнущимися пальцами. Проходя мимо неподвижных солдат, чуть скользнул по ним отсутствующим взглядом.

Искоса посматривая на наркома, Риббентроп испытывал чувство злого удовлетворения.

Его радовало, что сделано все для того, чтобы поставить на место этого представителя Кремля, к тому же мысль о том, что он, Риббентроп, играет столь значительную роль в истории, тешила его тщеславие. А то, что происходило сейчас, Риббентроп не сомневался, будет принадлежать истории. Как и все то, что произойдет впоследствии.

Бывший торговец шампанскими винами страдал смешанным комплексом величия и неполноценности. Его тогда еще никому не видимая звезда стала восходить в 1933 году. Однажды вечером двое людей, стараясь быть незамеченными, выскользнули из резиденции президента Германской республики. Они не пожелали воспользоваться служебной машиной и вскочили в первое попавшееся такси. Дали шоферу адрес – захолустное берлинское предместье, квартира некоего господина Риббентропа.

Ни один из них – а это были государственный секретарь Мейснер и сын президента Гинденбурга Оскар – не знал, как выглядит этот никому не известный нацист. Они слышали, что он был приятелем фон Папена, с которым, кажется, познакомился еще во время мировой войны на турецком фронте, и только.

Им вообще было наплевать на какого-то Риббентропа. У них была гораздо более значительная цель – встретиться с другим человеком, по имени Адольф Гитлер, чья партия одер-

жала победу на последних выборах в рейхстаг, с вождем этой партии, с тем, о ком Гинденбург сказал, что, пока жив, не допустит, чтобы какой-то бывший ефрейтор занял кресло немецких канцлеров.

Дверь им открыл человек со смазливым лицом парижского бульвардье или содержателя одного из сомнительных заведений на Александерплац; на лице его играла фатоватая, всепонимающая улыбка. Блестели густо напомаженные волосы.

Ни Мейснер, ни Оскар Гинденбург не обратили на этого пшюта ни малейшего внимания. Они вообще перестали замечать его после того, как он многозначительным шепотом произнес только одно слово: «Здесь!..»

Да, Гитлер был здесь, в этом доме, равно как и Папен, Геринг и Фрик.

К удивлению присутствующих, и прежде всего самого Риббентропа, который не хуже других знал об отношении Гинденбурга к фюреру, сын президента Оскар уже через несколько минут уединился с Гитлером в одной из комнат.

Никто не знал, о чем они говорили.

Так или иначе, но одно из решающих свиданий, предшествовавших тому, что Гинденбург, нарушив свою клятву, назначил Гитлера канцлером, происходило в доме Риббентропа.

Об этом с чувством неубывающей гордости всегда помнил Риббентроп, и – что еще более важно – об этом не забыл и сам Гитлер. Очень скоро Риббентроп распрощался с захолустьем, где жил все эти годы, переехал в одну из роскошных квартир на Кудам – так на берлинском жаргоне называли Курфюрстендам, одну из фешенебельных улиц столицы, – стал руководителем внешнеполитического бюро нацистской партии.

Риббентроп был необразован, ленив, но тщеславен и высокомерен, как прусский аристократ.

К его великому сожалению, он не был аристократом, и все его попытки хотя бы походить на такового кончились плачевно.

С чувством скрытой зависти смотрел он на лица кадровых генералов рейхсвера, сухие, вытянутые, надменные лица, покрытые желтоватой кожей, точно благородным пергаментом, на их монокли, с которыми они, казалось, родились.

Одно время он и сам пробовал носить монокль, по проклятое стекло оставляло болезненный след и поминутно выскальзывало из глазной впадины. Кроме того, монокль мешал Риббентропу видеть, и это быстро раскусили те, с кем ему ежедневно приходилось встречаться. Он никогда не мог забыть, как проклятый Геринг, эта жирная свинья, насмешливый и бесцеремонный хам, к сожалению пользующийся особой любовью фюрера, сказал однажды, протягивая какую-то бумагу для прочтения:

– Только выньте монокль, Риббентроп, это важный документ…

И тем не менее звезда Риббентропа восходила все выше и выше. В 1936 году Гитлер назначил его послом в Англию с главной целью: прозондировать возможность соглашения с этой страной против России.

Говорили, что тогда-то фюрер и произнес фразу, ставшую впоследствии известной многим. В ответ на высказанное кем-то замечание о некомпетентности Риббентропа Гитлер сказал: «Риббентроп хорошо знает, кто бог и кто ему молится».

Да и зачем Риббентропу была нужна компетентность в устарелом интеллигентском понимании этого слова! Разве он не смог бы, даже разбуженный среди ночи, процитировать великие, пророческие слова фюрера из «Майн кампф»: «Мы, национал-социалисты, начинаем с того места, где остановились семьсот лет назад!» Сколько раз на пивных сборищах, на уличных собраниях Риббентропу доводилось повторять эти слова! Они были пророчеством, программой, инструкцией… «Мы прекращаем бесконечное движение немцев на юг и запад Европы и обращаем наши взоры к землям на востоке. Когда мы говорим сегодня о новых территориях в Европе, то должны прежде всего иметь в виду Россию и пограничные с ней вассальные госу-

дарства. Сама судьба направляет нас туда». В этих словах заключалось все, что должен был знать человек, посвятивший свою жизнь фюреру.

Однако одних этих слов, хотя бы и навсегда благоговейно затверженных, было мало для того, чтобы занять пост немецкого посла в Англии. Но, во-первых, за время работы во внешнеполитическом бюро партии Риббентроп кое-чему научился. Во-вторых, он хорошо знал, «кто бог и кто ему молится». В-третьих… Это третье, но далеко не последнее по важности обстоятельство заключалось в том, что Риббентроп имел в Лондоне связи с людьми, которых в Берлине считали друзьями новой Германии.

В Лондоне Риббентроп не засиделся. В начале 1938 года Гитлер реорганизовал свой кабинет, выкинув оттуда Бломберга и Нейрата, которые казались ему слишком «старомодными», отягощенными традициями Веймарской республики. Место министра иностранных дел оказалось вакантным. Гитлер назначил на этот пост «динамичного» Риббентропа, хорошо усвоившего принципы нацистской дипломатии.

В один из осенних дней Риббентроп по поручению фюрера подписал в Берлине антикоминтерновский пакт с Японией и вечером того же дня объявил на многолюдной пресс-конференции, что отныне Германии и Японии предстоит сообща защищать западную цивилизацию.

Он не удостоил ответа ехидный вопрос одного из журналистов, каким образом Япония, расположенная, как известно, на Дальнем Востоке, собирается защищать Запад, и не обратил внимания на сопровождавший этот вопрос общий смех – в 1938 году звезда Риббентропа была уже в зените.

…И вот теперь, исполненный чувства гордости и собственного величия, он ехал в огромной министерской машине по Унтер-ден-Линден, искоса поглядывая на молчаливого советского наркома, с которым в прошлом году встречался в Москве.

Никаких признаков эмоций не было заметно на лице Молотова. И это раздражало германского министра. «Ординарное лицо гимназического учителя, – говорил себе Риббентроп. – Интересно, можно ли представить себе его с моноклем? И почему он предпочитает старомодное пенсне очкам? В Германии такие пенсне носили разве что только ювелиры и зубные врачи, в большинстве своем евреи…»

– Как дела в Москве? – с натянутой улыбкой спросил Риббентроп, чтобы нарушить тяготившее его молчание.

– В Москве дела идут хорошо, – ответил нарком, чуть поворачивая голову в сторону своего собеседника.

– Как здоровье господина Сталина?

– Отлично.

– Как Большой театр? – продолжал спрашивать Риббентроп.

– Большой театр на месте.

– Очень приятно слышать. «Лебединое озеро» – одно из моих незабываемых впечатлений. Конечно, театральный сезон уже начался?

– Да. Первого сентября, – лаконично ответил человек в пенсне.

– Как поживает несравненная Лепешинская?

– Кто?

– Я имею в виду вашу выдающуюся балерину.

– Она танцует.

Молотов рассеянно поглядел в окно. На тротуарах было много штурмовиков и полицейских. Риббентроп знал, что сегодня им было поручено не только обеспечивать безопасность кортежа, но и разгонять очереди, которые обычно стояли у продуктовых магазинов.

Риббентроп снова скосил глаза в его сторону, когда они проезжали мимо развалин, – это были свежие следы ночной бомбежки.

Но гость сидел по-прежнему неподвижно, снова устремив взгляд вперед. «Что ж, – подумал Риббентроп, – тем лучше». На всякий случай он сказал:

– Несколько дней назад англичане бросили на Берлин сто самолетов. Рейд отчаяния. Прорвались только три. Позавчера Люфтваффе предприняло ответную карательную акцию. Пятьсот самолетов! Почти все они достигли цели. Лондон – в развалинах. Мы получили прекрасные фотоснимки.

– Да? – сдержанно переспросил Молотов.

«Интересно, что вы запоете, когда наши самолеты будут бомбить Кремль!» – злорадно подумал Риббентроп. Эта мысль принесла ему некое внутреннее облегчение. Он стал думать о переговорах, которые должны были скоро начаться. Было приятно размышлять об этом. Приятно, потому что в этих переговорах на его стороне окажется огромное преимущество. Неважно, что будет сказано. Важно, исключительно важно будет то, о чем сказано не будет.

Он, этот невысокий человек в пенсне, и тот, другой, что стоит за ним, усатый, в полувоенной форме, и все те, что стоят за обоими, – люди неполноценных рас, они не знают, что их час фактически уже пробил, что все они вместе со своей проклятой страной скоро будут уничтожены.

Да, им, к счастью, неизвестно, что гигантская машина уже пущена в ход и что стрелка часового механизма медленно, неотвратимо обегает положенные ей круги… «Они все погибнут, все, все, в гигантском катаклизме, в схватке огня и льда», – мысленно произнес Риббентроп, привычно прибегая к широко распространенной в высшей нацистской среде мистической терминологии.

Впрочем, сам он в душе был далек от всякого мистицизма. Там, в Берхтесгадене, высоко среди баварских Альпийских гор, в Бергхофе – загородной резиденции Гитлера – он со смиренным вниманием вслушивался в исполненные мрачной таинственности пророчества фюрера о том, что весь мир стоит на пороге грандиозной мутации, которая даст человеку могущество, подобное тому, каким древние наделяли бога.

Все эти разговоры об извечной борьбе льда и огня, о сверхчеловеках, которые притаились где-то под землей, в глубоких пещерах, и скоро появятся, чтобы править людьми, были непонятны Риббентропу, – он начинал чувствовать себя в своей тарелке лишь тогда, когда разговор переходил на дела сугубо практические.

Но ощущение своей причастности к некоему грандиозному тайному замыслу усиливало в Риббентропе сознание собственной значительности. Он становился как бы сродни этим самым демоническим сверхчеловекам. И Риббентроп с чувством огромного превосходства посмотрел на своего бесстрастного соседа. «Хотел бы я увидеть твое лицо, твои немигающие, прикрытые овальными стеклышками пенсне глаза, – со злорадством думал он, – если бы ты узнал то, что пока знают лишь несколько десятков человек в Германии! Знает Йодль, которому фюрер еще год назад дал ясно понять, что завоеванная польская территория должна рассматриваться лишь как плацдарм для нового, решающего прыжка немецкой армии. Знает заместитель Йодля полковник Вальтер Варлимонт, которому три месяца тому назад фюрер разрешил посвятить узкий круг офицеров штаба вермахта в свое твердое намерение атаковать Советский Союз весной сорок первого года. Знают Гесс, Геринг, Геббельс, Борман, Кейтель, Браухич, Гальдер. Все они посвящены в исполненный нордической хитрости грандиозный замысел фюрера, и все они умеют хранить тайну…»

…Резиденцией советской делегации должен был служить дворец Бельвю. Машины промчались по длинной аллее, образуемой густыми рядами лип, и остановились недалеко от парадного подъезда.

– Этот дворец, – торжественно сказал Риббентроп, когда он и Молотов сделали несколько шагов по парку, – некогда был собственностью кайзера. Теперь он принадлежит Германии…

Риббентроп тут же счел свои слова неудачными: «Чего доброго, Молотов подумает, что я хочу подольститься к нему, выражаясь подобным образом» – и добавил уже значительно суше:

– Фюрер предназначил дворец для гостей немецкого правительства.

Он повел наркома по парадным комнатам. Они шли молча. Риббентроп искоса поглядывал на человека в пенсне, стремясь уловить, какое впечатление все же производит на него окружающее – стены, увешанные старинными гобеленами, драгоценный фарфор, огромные букеты роз в вазах, старинная дворцовая мебель и застывшие у дверей слуги в расшитой золотом одежде.

Но Молотова все это, по-видимому, не интересовало. Он не задержался ни у одного гобелена, не постоял ни перед одной картиной, не полюбовался ни одной розой, хотя бы из вежливости.

Риббентроп с досадой вспомнил, что сам он не удержался от восхищенных восклицаний, когда в прошлом году его провели по парадным залам Кремля. А сегодня этот апатичный славянин ступает по бесценным коврам одного из самых великолепных дворцов Германии, мимо картин и гобеленов, которые послужили бы украшением знаменитейших музеев мира, проходит так, точно всего этого просто не существует.

Перед широкой мраморной лестницей, ведущей во второй этаж, где располагались жилые помещения, Риббентроп остановился.

– Вы увидитесь с фюрером во второй половине дня, господин министр, – многозначительно сказал он. – Если с вашей стороны нет возражений, мы смогли бы обсудить некоторые вопросы в предварительном порядке. Разумеется, после того, как вы отдохнете…

– Мы будем готовы через полчаса, – сказал Молотов, и это были первые слова, произнесенные им после того, как они вошли в замок.

Риббентроп предложил наркому сигареты и сигары, хотя знал, что тот не курит. Затем сам закурил сигару, выпустил клуб дыма, вежливо помахал рукой, чтобы дым не достиг гостя, и, широко улыбнувшись, голосом, не лишенным некоей торжественности, сказал:

– Итак, господин министр, настало время, чтобы четыре великие державы – я, естественно, имею в виду Россию, Германию, Италию и Японию – определили сферы своих интересов. По мнению фюрера, – он сделал ударение, произнося это слово, – все устремления этих стран должны быть направлены на юг. Италия, как известно, уже пошла по этому пути. Что касается Германии, то она в дальнейшем намерена расширить свое жизненное пространство за счет земель в Центральной Африке. Хотелось бы услышать о намерениях России, – несколько наклоняясь в сторону своего собеседника, сказал Риббентроп и сделал большую паузу.

Но человек в пенсне, видимо, не собирался разомкнуть свои плотно сжатые губы. Помолчав мгновение, Риббентроп продолжал, значительно подчеркивая слова:

– Не считает ли Россия, что для нее было бы естественно обратить свои взоры на юг, то есть к южному морю? Полагаю, что новый морской выход был бы для России…

– К какому морю? – неожиданно прервал Риббентропа нарком, и в интонации его прозвучало нечто похожее на усмешку. Риббентроп удивленно приподнял брови, точно желая спросить: неужели в Кремле плохо знают географию? Однако Молотов молчал, вопросительно глядя на Риббентропа.

Последний невольно смешался и хотел было напомнить, что уточнение географических пунктов в ситуациях, подобных сегодняшней, не в традициях дипломатии. Однако счел за лучшее вообще не отвечать на столь прямолинейно поставленный вопрос. Он сделал неопределенный жест рукой, прочертив полукруг зажатой в пальцах сигарой, и стал пространно говорить об огромных переменах в мире, которые неизбежно произойдут после того, как Германия закончит начатую ею победоносную войну.

– Я уверен, – зажигая потухшую сигару, закончил Риббентроп, – что обе наши страны выиграли, заключив свой исторический пакт. Не кажется ли господину министру естественным, что и дальнейшее, послевоенное сотрудничество между Германией и Россией пошло бы на пользу нашим народам?

Произнося эти слова, Риббентроп вспомнил о директиве фюрера, данной им генералу Томасу, начальнику управления военной экономики верховного командования. Смысл ее заключался в том, чтобы планировать поставку России материалов, предусмотренных германо-советским договором, лишь до весны сорок первого года. Лишь до весны!..

Риббентроп снова улыбнулся, глядя на представителя страны, судьба которой уже была решена.

– К какому морю? – неожиданно повторил свой вопрос этот человек, точно не слышал ничего из того, что только что было сказано Риббентропом.

Немецкий министр недовольно передернул плечами и резким движением потушил сигару, ткнув ею в дно хрустальной пепельницы.

«Что ж, – подумал он, – в конце концов, я ничем не рискую».

– Я полагаю, – сказал он, – что Россия могла бы извлечь серьезные для себя выгоды, обратив взоры в сторону Персидского залива и Аравийского моря.

– Вы так п-полагаете? – переспросил Молотов, впервые обнаруживая свою привычку слегка заикаться, которая так нервировала Риббентропа еще в Москве, потому что нередко придавала самым простым словам этого человека многозначительный или ядовито-насмешливый характер.

Риббентроп посмотрел в упор на наркома, стараясь определить, является ли его вопрос чисто риторическим, или в нем заключен какой-то особый смысл.

Но лицо человека в пенсне хранило по-прежнему спокойно-непроницаемое выражение. «Уж не намерен ли этот большевик издеваться надо мной? – подумал Риббентроп. – Какого еще ответа он ждет от меня? О, интересно было бы себе представить, какой характер принял бы разговор, если бы этот бесстрастный, как и все большевики, лишенный воображения человек знал, какая ставка сделана в этой игре!..»

Риббентроп снова мысленно повторил слова – приказ, отданный Гитлером генералу Томасу, но в этот момент Молотов неожиданно сказал:

– Я задал свой вопрос, потому что при определении любых перспектив необходима точность и… б-бдительность. В особенности когда речь идет о Германии и Советском Союзе.

Риббентроп на мгновение смутился. Ему показалось, что Молотов каким-то чудом услышал слова, которые он произнес лишь мысленно. «Чепуха, совпадение», – тут же успокоил себя Риббентроп и, чуть повышая голос, переспросил с хорошо разыгранным недоумением:

– Вы сказали «бдительность»? Я вас правильно понял? – На этот раз он обращался к переводчику.

– Да. И бдительность, – повторил нарком.

Риббентроп настороженно посмотрел на своего собеседника и подумал: «Что он намерен этим сказать? Хочет дать понять, что ему что-то известно об истинных намерениях Германии? Нет, этого не может быть. Он просто стремится набить себе цену. Просто делает вид, будто располагает какими-то сведениями. Что ж, пусть попробует пойти по этому пути, когда встретится с фюрером!

О, этот человек в пенсне просто не знает, что его ожидает! Он привык иметь дело с простыми смертными. Но ему предстоит увидеть победителя, громовержца, услышать звук его сокрушительного удара кулаком по столу!.. Может быть, тогда этот человек без нервов поймет, что находится на земле Третьего рейха, перед лицом хозяина Европы, завтрашнего властелина мира…»

И Риббентроп с улыбкой, подчеркнуто вежливо сказал Молотову, что ему понятен серьезный и осторожный подход господина министра к возникающим проблемам, но он уверен, что при встрече с фюрером эти проблемы будут благополучно разрешены.

Говоря все это, Риббентроп старался найти ту едва ощутимую грань, черту, которая отделяет вежливость от тонкой насмешки. Он балансировал на этой черте, готовый в зависимости от реакции собеседника немедленно перейти по ту или другую ее сторону.

Но Молотов, казалось, вообще никак не реагировал на слова Риббентропа. Невозмутимо слушал, чуть наклонив голову к переводчику, затем едва заметно кивнул, блеснув стеклами своего пенсне, и встал.

Предварительные переговоры были окончены.

III

В последние годы Гитлер страдал бессонницей. Поздно ложился и рано вставал.

В семь утра ему подавали первый завтрак – простой немецкий завтрак, без всяких излишеств: стакан молока или фруктового сока, одну-две булочки, ломтик мармелада. Он был неприхотлив в еде. Потом гулял, думал, иногда писал, иногда беседовал с астрологом… Свой рабочий день он начинает (втайне терпеть не может это занятие) с просмотра бумаг государственной важности. При одной мысли, что это неизбежно, у него портится настроение, и в свой служебный кабинет – огромная комната, гобелены на стенах, пушистый ковер на полу, широкий и длинный письменный стол, неподалеку от него большой глобус на подставке из черного дерева – он входит уже с испорченным настроением.

Он обладает завидной способностью мгновенно запоминать содержание документов и донесений, причем почти дословно.

И тем не менее ненавидит бумаги, потому что они глухи и беззвучны. Он презирает их, они чужды ему, потому что не могут кричать, издавать тот единый оглушительный, самозабвенный, торжествующий вопль восхищения, который его уши давно уже воспринимают как лучшую на свете музыку.

Читать, даже просто перелистывать эти скучные бумаги – для него пытка. Он вообще ненавидит детали. Уверен, что мыслит масштабами целой страны, Европы, вселенной, космоса. Время, предусмотренное для чтения различных документов, – самое неприятное для него время, если не считать ночи, тех нескольких часов, когда он тщетно пытается заснуть.

Покончив с бумагами, он вызывает своего адъютанта и мгновенно преображается. Жизнь снова обретает для него смысл: появился собеседник, вернее, слушатель.

Даже за столь прозаическим занятием, как обсуждение с адъютантом программы предстоящего дня, ему удается произнести несколько речей о политике, вегетарианстве, религии, большевиках, о дрессировке собак или о достоинствах дирижера Фуртвенглера.

Затем он обычно принимает военных – руководителей Генштаба. Выслушивает их доклады. Не до конца, нет. Это потребовало бы от него невероятного напряжения сил. Те, что докладывают, давно уже научились угадывать, когда им следует умолкнуть и выслушать монолог, нередко не имеющий никакого отношения к докладу. Но иногда они не успевают замолчать вовремя. Тогда водопад слов обрушивается внезапно. Часто он сопровождается ударами кулака по столу и полетом листков бумаги, сброшенных со стола решительным взмахом руки громовержца. Ходили слухи, что в таком состоянии он был способен рвать зубами ковры и гардины.

Но всему приходит конец. Он успокаивается и тогда в состоянии вести нормальную беседу. Диктует решения. Это он очень любит. Диктует резким, отрывистым, хрипловатым голосом, устремив взор в пространство, и кажется, видит перед собой не стенографа, не смеющего оторвать свой взгляд от блокнота, но все человечество – миллионы людей, покорно и с трепетом ловящих каждое его слово…

Потом обедает. Вареные овощи. Овощной суп. Омлет из овощей. Компот из фруктов.

Он вегетарианец. Не курит и не пьет.

Обедает, как правило, в обществе нескольких лиц, хотя круг приглашенных обычно очень узок: личный секретарь, адъютант, руководитель ведомства печати и командующий авиацией – полный, часто улыбающийся, добродушный на вид, вполне земной человек. Обычно говорят двое – хозяин и толстяк: монологи одного, сопровождаемые солеными, одобрительными шутками и раскатистым смехом другого. После обеда он возвращается в свой кабинет. Начинаются совещания. С министром иностранных дел своей страны. С министрами других

стран, дожидающихся аудиенции. С членами партийного руководства. Иногда встречи переносятся в окруженный высокими стенами парк, расположенный тут же, неподалеку.

Взрывы ярости, свирепые выкрики или торжественные декларации время от времени доносятся до ушей настороженных, всегда готовых к действиям сотрудников многочисленной охраны.

…Вечером если он не разъезжает по стране и лающий голос его не воспроизводят тысячи репродукторов, то смотрит фильмы – голливудские боевики и военную хронику – в своем личном кинозале, расположенном в нескольких шагах от его служебного кабинета.

Питает почти патологическую страсть к вагнеровским операм, хотя иногда посещает и «Метрополь», где танцуют хорошенькие девушки.

Дома его обычно никто не ждет. Он не женат. Считается, что женщины не играют никакой роли в его жизни, целиком отданной борьбе за мировое господство немцев.

Он так и не женился. Женщине, имя которой посвященные связывали теперь с его именем, он не часто разрешает приезжать к себе: все свое время вождь отдает народу…

Он невысокого роста и непропорционально сложен: относительно длинное туловище и очень короткие ноги.

По части одежды он сама скромность. Летом – коричневая рубашка, заправленная в брюки военного образца. Сапоги. Иногда френч зеленовато-мышиного цвета. В холодное время года – кожаное пальто с поднятым воротником, фуражка с высокой тульей.

Его соратники сверкают орденами, он же носит только один – простой, солдатский – Железный крест.

Давно прошли времена, когда этот человек был известен только завсегдатаям мюнхенских пивных. Все или почти все забыли годы, когда он и его немногочисленная партия были бедны, подвергались насмешкам и оскорблениям, когда только немногочисленные, но могущественные люди разглядели в нем вождя.

Первыми на него поставили Фриц Тиссен, глава немецкого стального концерна, и Эмиль Кирдорф, рурский угольный король.

Их первый вклад был относительно скромен – сто тысяч золотых немецких марок – и передан тайно, окольным путем, через генерала Людендорфа.

Потом деньги потекли рекой: когда речь шла о борьбе с марксизмом, профсоюзами и рабочим классом, те люди средств не жалели. Примеру Тиссена и Кирдорфа последовали другие: фон Шнитцлер из «И. Г. Фарбен», Август Ростерг и Август Диин, Куно из пароходной компании «Гамбург – Америка», Немецкий банк, Коммерческий банк, «Альянс» – крупнейшее немецкое страховое общество…

Но об этом более чем скромном начале его деятельности помнят лишь немногие. Для остальных он богом данный спаситель Германии. Ее настоящее и будущее.

Его зовут Адольф Гитлер, но никто, даже самые близкие из друзей, не смеет обращаться к нему по имени.

Для них он «фюрер». «Мой фюрер». Так же как и для миллионов других немцев – полубог, которому предстоит утвердить господство над всем миром, над всем человечеством одного государства – Германии, одной нации – немецкой.

…В тот вечер Гитлер принимал ближайших друзей в Бергхофе – излюбленной своей резиденции, месте отдыха, убежище для размышлений.

Может быть, Гитлер особенно любил эту большую белую виллу потому, что она была расположена высоко в горах, в баварских Альпах.

Слегка ссутулившись, опустив руки и сплетя их кисти ниже живота, мелкими шаркающими шагами, изредка подергивая правым плечом, он ходил из угла в угол огромной гостиной.

Иногда останавливался у окна, высокого и широкого. Открывающийся пейзаж – лишь небо и горы – напоминал ему, как высоко он стоит над людьми, ближе к небу, чем к людям.

Гости сидели в креслах, расставленных у низких длинных столиков: генерал-фельдмаршал Кейтель, Борман, Ева Браун – красивая и безликая возлюбленная фюрера, шеф прессы доктор Отто Дитрих, имперский руководитель трудового фронта Лей с женой и один из недавно назначенных адъютантов рейхсканцлера, Арним Данвиц.

В огромном камине пылали дрова. Тонкие, одинаковые по размеру поленья возвышались горкой на широком медном листе перед камином. Неподалеку, пригревшись у огня, лежала Блонди, любимая овчарка Гитлера.

Время от времени фюрер подходил к камину, чтобы погладить собаку, подбросить поленья или помешать угли длинными щипцами.

Курить запрещалось. Не было и спиртных напитков. Только кофе и чай, который время от времени разносили гостям эсэсовцы в ослепительно-белых мундирах.

Время приближалось к полуночи. Гости устали. В течение бесконечно длящегося вечера они выслушали уже несколько монологов фюрера. Об Англии – проклятой нации торгашей и надутых снобов, еще в прошлом столетии опозорившей себя, посадив еврея в кресло премьер-министра; о французах – заживо гниющем сброде, без веры, без единства, погрязших в разврате подлых лягушатников, допустивших создание блока, названного «народным»; о Рузвельте – плутократе с пораженными полиомиелитом ногами и типично прагматическим умом политического комбинатора; о великом немецком пианисте Вальтере Гизекинге, который, не в пример гнусным писакам типа Томаса Манна или Фейхтвангера, не только не покинул великую Германию, но с разрешения Геббельса поехал в международное турне, чтобы ее прославить; о теории космического льда и земной пустоты…

Он не коснулся только одной темы. Той самой, которая сегодня интересовала гостей больше, чем все остальные. Предстоящего визита Молотова.

Все приглашенные сегодня к Гитлеру – обычный круг гостей – ждали его высказываний именно по этому поводу. Ведь люди, которые здесь собрались, были хорошо осведомлены, посвящены в самые секретные планы фюрера.

Они знали, например, что война с Россией предопределена – фюрер уже принял на этот счет непоколебимое решение. Более того: она уже разразилась бы, если бы Кейтель и Гальдер из чисто военных соображений не уговорили Гитлера перенести ее начало на будущий год.

Нет, они не были против самого замысла – это знали все, кто был близок к фюреру. Просто убедили его в невозможности своевременной переброски необходимых войсковых контингентов с запада на восток в такие сжатые сроки. Доказали, что невыгодно начинать столь большую кампанию в преддверии зимы.

Фюрер нехотя согласился с их доводами. Объявил: годом новых великих побед должен отныне стать будущий, 1941 год.

К сожалению, подозрительность Кремля – и это тоже не было секретом для собравшихся здесь людей – в последнее время значительно возросла. Это стало совершенно очевидным недавно, после посещения Молотова Типпельскирхом.

Все собравшиеся здесь люди помнят, как месяца два тому назад здесь же, в гостиной, стоя перед сидящим в кресле раздраженным фюрером, Риббентроп рассказывал об этом посещении. Гитлер был зол уже с самого начала доклада, обругав Типпельскирха при первом упоминании его имени Риббентропом. Непонятно почему. Ведь было совершенно естественно, что в советский Наркоминдел отправился Типпельскирх, поскольку посол граф Шулленбург был тогда в Берлине, в отпуске, а временным поверенным оставался именно Вернер фон Типпельскирх. Конечно, все, что произошло дальше, определялось не отсутствием дипломатического таланта у поверенного, а характером поручения, кстати возложенного на него самим фюрером.

Типпельскирху предстояло информировать Кремль о том, что Япония, Италия и Германия в ближайшие дни собираются заключить военный союз.

Подготовка к нему велась в глубокой тайне, однако за несколько дней до того, как тайному предстояло стать явным, фюрер поручил своему посольству в Москве информировать советское правительство о предстоящем заключении трехстороннего договора.

Поверенному надлежало подавить в зародыше все могущие возникнуть в этой связи у Кремля подозрения.

Гитлеру было свойственно недооценивать своих противников, сегодняшних и завтрашних. Однако он был достаточно умен для того, чтобы не связывать успех миссии Типпельскирха лишь со способностью поверенного облечь неприятное для Москвы сообщение в обтекаемые фразы. Поэтому Типпельскирху было поручено дополнительно сообщить советскому Наркоминделу, преподнеся это сообщение как доказательство безграничного доверия фюрера к Кремлю, что в предполагаемом договоре будет специальная секретная статья, указывающая на то, что он направлен не против Советского Союза, а против США.

…Когда Риббентроп, явившись в Бергхоф, стал докладывать Гитлеру о результатах миссии Типпельскирха, тот их уже хорошо знал по донесениям из посольства, переданным представителями гестапо и абвера.

Риббентропу предстояло лишь разыграть все это в лицах перед Гитлером, с самого начала настроенным враждебно против Типпельскирха и уж конечно против Молотова.

Итак, согласно шифрованному донесению немецкого поверенного в делах, советский нарком принял его более чем холодно. Молча выслушал и назидательно, точно учитель провинившемуся ученику, прочел короткую нотацию. Смысл ее заключался в том, что, согласно статье четвертой советско-германского пакта, текст любого заключаемого в дальнейшем Германией международного соглашения должен быть показан советскому правительству предварительно.

Именно «предварительно», а не «накануне», подчеркнул Молотов и добавил: «Включая текст любого секретного протокола или какой-либо не подлежащей оглашению статьи».

Типпельскирх пытался, продолжал свой доклад Риббентроп, отвергнуть эти претензии, ссылаясь на условия военного времени, в которых находится Германия, условия, неизбежно усложняющие процедуру дипломатических согласований. Но Молотов резко прервал его неожиданным вопросом.

Советское правительство, сказал он, хотело бы знать о подробностях соглашения Германии с Финляндией относительно пребывания немецких войск на финской территории… При этих словах Риббентропа Гитлер вскочил с кресла и, потрясая кулаками, произнес, точнее прокричал, монолог о том, что Германия никому не обязана отчетом, что если нечто подобное Молотов или кто там еще осмелился бы сказать ему, Гитлеру, то был бы уничтожен, испепелен, стерт с лица земли. Затем последовало несколько презрительных фраз по адресу Маннергейма, этой старой бабы и хитрой лисы, у которой все еще дрожит хвост при слове «Россия», хотя война с ней закончилась уже несколько месяцев назад. Наградив этого последнего еще целым рядом весьма нелестных эпитетов, Гитлер, уже совершенно обессиленный, сел, точнее, упал обратно в кресло, махнул рукой Риббентропу, чтобы тот продолжал.

Риббентроп, никогда не упускавший случая подставить ножку ближнему своему, поспешил добавить, что Типпельскирх, видимо, растерялся, потому что в шифровке не сообщает о своем ответе Молотову, а лишь приводит его слова о недоумении советского правительства, которому, дескать, хорошо известно, что только в самые последние дни немецкие вооруженные силы прибыли по меньшей мере в три финских порта.

Гитлер снова взорвался. Он опять вскочил с кресла, ткнул ногой в горку заготовленных для камина поленьев, которая с грохотом обрушилась, и стал кричать, что не потерпит

этой возмутительной подозрительности, поскольку Кремлю было сказано, что немецкие войска направляются не «в» Финляндию, а лишь «через» нее – в Норвегию…

Гитлер кричал все громче, все исступленнее, хотя и он сам, и его приближенные знали, что речь идет о трюке, маневре, камуфляже, что посланные в Финляндию войска имеют приказ там остаться и готовиться для нападения на Россию с севера, угрожая прежде всего Ленинграду. Свою речь фюрер закончил выкриком, что раз так, то он, не ожидая будущего года, уже сегодня отдаст приказ стереть Россию с лица земли…

Однако такого приказа не последовало. В этом маньяке, одержимом жаждой мирового господства, казалось бы, не признающем никаких трезвых расчетов, невежество и сумасбродство сочетались с дьявольской хитростью, отличным пониманием конкретной политической ситуации и умением играть на неизбежно возникающих противоречиях. Итак, Гитлер в тот день не отдал приказа «стереть Россию с лица земли». Более того, поручил германской дипломатии сосредоточить все усилия на том, чтобы усыпить подозрительность Кремля.

Теперь его ставкой было приглашение Молотова в Берлин под предлогом нормализации германо-советских отношений, выяснения всех спорных вопросов. Во время этой встречи необходимо было отвратить взоры России от военных приготовлений Германии и повернуть их совсем в иную сторону.

…И вот сегодня обычный избранный круг людей, собравшихся в Бергхофе, с нетерпением ждал, когда же фюрер коснется этой наиболее актуальной темы, ведь Молотов через два дня будет в Берлине…

Но Гитлер говорил о чем угодно, только не об этом. В конце концов его утомленные гости, уже отчаявшиеся услышать что-нибудь новое, с нетерпением ждали того момента, когда им будет позволено идти спать.

Но Гитлер, казалось, не собирался уходить, забыв о том, что уже поздно, забыв о своих гостях, вообще обо всем, что его окружало.

Но о главном – о том, что предстояло ему послезавтра в Берлине, о встрече с советским посланцем – он хорошо помнил. Об этом и думал сейчас. Думал молча, поскольку вообще презирал людей, даже тех, наиболее к нему приближенных, которые сидели сейчас в этой гостиной.

Разумеется, вместе с Герингом, Гессом, Борманом, Геббельсом и Риббентропом он еще заранее до мельчайшей детали, от встречи до проводов, разработал все, что предстоит осуществить послезавтра. Был уверен в успехе.

И все же сейчас он ждал очередного «озарения», догадки, внезапной блистательной идеи, которая, претворенная в действие, помогла бы ему заманить Молотова в такую западню, из которой уже не было бы выхода.

…Беспорядочно, меняя направление, он сновал по гостиной, точно ткал паутину этого плана, в которой посланцу Москвы предстояло запутаться и в конце концов повиснуть, как обессиленной мухе.

В основном план действий был уже выработан. Он имел две стороны: политическую и, так сказать, эмоциональную. Смысл первой состоял в том, чтобы успокоить Россию, усыпить ее подозрения, убедить большевиков перевести свои взоры с севера и запада на юг, дав, таким образом, возможность Германии закончить приготовления к решающему удару на востоке.

Вторая, эмоциональная, так сказать, сторона этого плана заключалась в том, чтобы подавить – нет, скорее, распалить воображение Молотова. Советский министр должен увидеть мираж, заманчивый, влекущий, и, поверив в него, увлечь за собой Сталина и всех остальных.

И пока они убедятся, что открывшееся перед ними видение – всего лишь мираж, пройдет время. Время, достаточное для того, чтобы Германия закончила необходимые приготовления к мощному удару, который решит не только судьбу России, но и всей так называемой мировой цивилизации, чье время уже миновало.

Да, план был хорошо продуман. И все же Гитлеру казалось, что в нем не хватает какого-то последнего, решающего штриха, рычага, нажав на который можно было бы накрепко захлопнуть западню.

Чтобы найти этот рычаг, необходимо было «озарение». А оно не приходило…

Гости, уже отчаявшись услышать от фюрера какие-либо неизвестные им подробности о предстоящем визите советского комиссара, ждали момента, когда после своей очередной пробежки по комнате Гитлер не вернется к камину, а, позвав собаку, направится к двери, вяло, как обычно, махнув на пороге рукой гостям в знак прощания.

И только один человек из тех, что собрались в этой гостиной, не жаждал отдыха и не мечтал о том, чтобы фюрер наконец удалился. Он хотел бы если не слышать, то хоть видеть его, видеть всегда, вечно, днем и ночью, ловить каждое его движение, каждый взгляд… Он чувствовал, что остальные гости устали, хотят поскорее разойтись по своим комнатам, удивлялся им, был готов презирать их за это…

Человека, не сводящего преданного взгляда с шагающего по комнате Гитлера, звали Арним Данвиц. Этот тридцатилетний майор из штаба Йодля только что вернулся из оккупированной Польши, куда ездил по личному секретному поручению фюрера, особым расположением которого пользовался вот уже несколько месяцев.

Арним Данвиц, сын участника мюнхенского «пивного путча», одного из старейших членов нацистской партии, скончавшегося вскоре после прихода Гитлера к власти, был влюблен в фюрера заочно с юношеских лет.

Не только по завещанию отца, но в соответствии со своим горячим желанием Арним решил посвятить свою жизнь служению фюреру.

Член гитлерюгенда в прошлом, Арним вступил в нацистскую партию, едва достигнув уставного возраста. Дальнейшая карьера Данвица определилась в тот день, когда ему выпало счастье вместе с другими молодыми нацистами присутствовать в здании государственной оперы на «хельденгеденкентаг» – торжестве, посвященном памяти немецких героев, погибших в Первой мировой войне.

То, что представилось взору Арнима, наполнило его душу чувством священного трепета.

Он увидел в зале море военных мундиров, застывшие ряды солдат рейхсвера на сцене, которые держали в руках немецкие боевые знамена, освещенные светом ярких прожекторов… Огромный серебряно-черный железный крест колыхался над древками знамен и головами солдат. И когда оркестр заиграл похоронный марш Бетховена, а в королевской ложе появился Гитлер и, протянув руку, застыл в безмолвном приветствии своим войскам, все существо Арнима Данвица, который стоял в одном из проходов зала, зажав в окаменевших пальцах древко нацистского знамени, замерло в благоговейном восторге.

С этого дня он уже не мыслил для себя иной карьеры, кроме военной, с отличием окончил военное училище, был замечен и направлен на работу в генеральный штаб сухопутных войск, который возглавлял Гальдер. Но мечтой Данвица было работать в штабе оперативного руководства всех вооруженных сил Германии, потому что штаб этот возглавлял Альфред Йодль.

Гальдер был представителем старого немецкого генералитета, к которому нацисты всегда относились со смешанным чувством зависти, неприязни и подозрительности. Йодль же был генералом новой, нацистской формации, и симпатии к нему фюрера были общеизвестны.

Данвицу удалось перейти в штаб Йодля вскоре после нападения Германии на Польшу.

С переменой в его судьбе была связана тайна. И то, что Данвиц был посвящен в нее, переполняло его сердце гордостью.

17 августа 1939 года его вызвал Гальдер и сказал, что ему, Арниму Данвицу, тогда еще только капитану, поручается дело государственной важности, которое должно быть сохранено в глубочайшей тайне. Он намекнул на то, что рейхсфюрер СС Гиммлер лично указал на него, Данвица, как на офицера Генштаба, который может быть допущен к этой секретной операции.

Данвиц знал Гиммлера. Он был старым партийным товарищем отца и бывал в их доме еще задолго до 1933 года, то есть до того, как фюрер встал во главе Германии.

Арним выслушал инструкции Гальдера, щелкнул каблуками, выбросил вперед правую руку и поспешно вышел из генеральского кабинета.

А начальник Генштаба сделал странную запись в своем дневнике, который вел изо дня в день: «Гиммлер, Гейдрих, Оберзальцберг: 150 комплектов польского обмундирования со всем необходимым для Верхней Силезии».

Для сотен миллионов людей в Германии, Польше, во всем мире то, что произошло потом, стало известно лишь 31 августа, когда берлинское радио объявило, что отряд польских солдат вторгся на немецкую территорию близ Глейвица и с боем захватил немецкую радиостанцию. Но этого акта ничем не вызванной агрессии зарвавшимся польским извергам показалось мало, продолжал прерывающимся от возмущения голосом диктор, поляки не только захватили немецкую радиостанцию, но использовали ее для антинемецкой передачи на польском языке. Весь мир мог слышать эту наглую, полную нападок на великую Германию и ее вождя передачу…

Да, это было правдой: такая передача прозвучала в эфире несколько часов назад. Так, значит, это поляки использовали захваченную немецкую радиостанцию?!

Ну конечно! Вот эти самые поляки, фотографии которых опубликовали все немецкие вечерние газеты. Правда, изображенных на снимках людей нельзя было ни о чем спросить. Они лежали мертвые на немецкой земле, близ Глейвица, на фоне здания радиостанции. Что ж, и это казалось естественным: часть захватчиков была перебита доблестными солдатами вермахта, остальные бежали обратно в Польшу.

Фюрер приказал немецким войскам в ответ на эту дерзкую провокацию перейти границу Польши…

А убитые в бою за радиостанцию захватчики еще несколько дней лежали там, где их застала смерть. Фоторепортеры – немецкие и иностранные – запечатлели убитых для летописи войны, которая только что началась.

И никто из них не знал, что эти «поляки» еще несколько дней назад были чистокровными немцами, смертниками, заключенными концлагеря в Дахау. Никто не знал, что им были обещаны жизнь и свобода, если они наденут польскую военную форму и примут участие в операции, носящей кодовое название «Консервы».

Да и сами они не знали, что умрут, когда немецкий военный врач сделал им тут же, у здания радиостанции, предохранительные прививки от сыпного тифа. Это, сказано было им, необходимая мера предосторожности: ведь рядом граница с такой грязной, нищей страной, как Польша. Они умерли через четыре минуты после инъекции и от пулевых ранений, которые потом так хорошо были видны на фотографиях, уже не страдали, поскольку мертвые боли не испытывают, даже если им стреляют в голову из автомата.

Но обо всем этом никто не знал. Ведь несколько человек, посвященных в тайну и умеющих ее хранить, в счет не идут.

Среди этих немногих был и капитан Данвиц, обеспечивавший военную сторону операции – доставку польского обмундирования и вооружения. За все остальное отвечало гестапо.

Случилось так, что именно Данвицу, как очевидцу, довелось докладывать о проведенной операции Йодлю. На вопрос последнего, какую награду он хотел бы получить, Данвиц ответил: «Служить под вашим руководством, господин генерал».

Возможно, что перед тем, как взять Данвица с собой на доклад Гитлеру, Йодль рассказал фюреру о молодом преданном нацисте-офицере, подающем большие надежды и умеющем молчать. Может быть, сам Гитлер обратил внимание на безукоризненно арийскую внешность порученца Йодля – высокого, светловолосого, с осиной, перетянутой ремнем талией – и во

взгляде устремленных на него голубых, со стальным оттенком глаз прочел такую собачью преданность, что проникся к нему симпатией.

Так или иначе, но месяцем позже Данвиц был произведен в майоры, еще через три месяца стал одним из адъютантов фюрера и еще через полгода получил от него особое задание, для выполнения которого отправился в уже покоренную Польшу.

Из командировки Данвиц вернулся только сегодня утром и, прибыв в Берлин, получил приказание немедленно явиться к фюреру в Бергхоф.

…И вот Арним Данвиц уже несколько часов сидит в гостиной Гитлера, стараясь не пропустить ни одного его слова, ни единого жеста.

Он всегда обожал своего фюрера.

Но после участия в операции «Консервы» чувство Данвица приобрело особый оттенок. Арним не сомневался, что вся эта идея родилась в гениальном мозгу фюрера. Таким образом, участвуя в ее осуществлении, он, Данвиц, как бы приобщился к тайным помыслам своего вождя, становился их непосредственным исполнителем.

Следовательно, взволнованно рассуждал Данвиц, их – великого фюрера и его, Арнима, – объединяет некая тайная, невидимая людям связь. Он, Данвиц, стал как бы частицей самого фюрера, пусть ничтожной, но все же частицей.

Эта мысль опьяняла Данвица. Он возвращался к ней снова и снова, когда видел перед собой великого человека, допустившего его, скромного майора, в свое святая святых.

Когда высокие стоячие часы в футляре из черного дерева пробили половину второго, Данвиц понял, что сегодня ему уже не удастся доложить фюреру о результатах своей поездки.

Он уже не раз пытался поймать взгляд Гитлера, когда тот проходил мимо, чтобы по выражению его глаз понять, следует ли ему оставаться в Бергхофе или возвращаться в Берлин и ждать прибытия фюрера туда. Но Гитлер, казалось, не замечал своего адъютанта и продолжал ходить по комнате, погруженный в свои мысли.

Наконец он направился к двери, чуть приподняв с порога в знак прощания правую руку с откинутой ладонью, и скрылся.

Сразу же оживившись, гости стали шумно прощаться друг с другом.

Кейтель, Лей с женой и, разумеется, Ева Браун оставались ночевать в Бергхофе.

Данвиц стоял в большом холле, стены которого были украшены оленьими рогами и гравюрами на темы «Кольца Нибелунгов», раздумывая, возвращаться ли ему в Берлин или переночевать здесь, на вилле, в помещении для охраны, но в это время к нему подошел личный шофер Гитлера и, щелкнув каблуками, негромко сказал:

– Фюрер ждет вас, господин майор. Он у себя в кабинете.

…Гитлер сидел в глубоком кожаном кресле, расстегнув френч и вытянув ноги, плотно охваченные высокими сапогами. Кресло стояло у окна, и Данвиц уже знал, что это было любимое кресло фюрера. В нем он обычно отдыхал. Левая часть комнаты была рабочей – там стоял широкий письменный стол красного дерева и большой глобус, хотя несколько меньший, чем тот, что Данвиц видел в официальной резиденции фюрера в Берлине, в кабинете новой имперской канцелярии.

Когда Данвиц застыл на пороге и, напряженно выкинув вперед руку, негромко, но с чувством, точно клятву в верности, произнес «Хайль Гитлер!», фюрер несколько мгновений, не отвечая на приветствие, смотрел на него в упор.

Наконец Гитлер едва заметно кивнул, улыбнулся и многозначительно спросил:

– Ну… Данвиц?

– Мой фюрер, я вернулся в Берлин сегодня в четырнадцать ноль-ноль, – отрапортовал Данвиц, – ваше приказание выполняется точно, с соблюдением необходимой тайны.

– Подробнее! – резким голосом приказал Гитлер.

Все в той же застывшей позе, прижав ладони к бедрам и слегка оттопырив локти, Данвиц доложил, что помещения для новых воинских контингентов подготавливаются под видом клубных и спортивных сооружений, роются подземные склады для боеприпасов, все работы, как правило, производятся с одиннадцати вечера до трех утра, то есть глубокой ночью, и нет никаких признаков, что они были обнаружены русскими.

– Вы уверены? – настороженно спросил Гитлер, снова устремляя на Данвица свой колючий подозрительный взгляд.

– Я скорее бы умер, чем позволил себе ввести вас в заблуждение, мой фюрер, – по-прежнему тоном военного рапорта ответил Данвиц, не опуская головы под буравящим его взглядом.

– Отлично! – воскликнул Гитлер. Некоторое время он молчал, потом спросил уже обычным, будничным голосом: – О чем… говорят?

– О предстоящем приезде Молотова, – коротко ответил Данвиц.

– Точнее.

– Многие полагают, что переговоры укрепят наш договор и…

Этого было достаточно, чтобы Гитлер вскочил, точно выброшенный из кресла невидимой катапультой, и воскликнул, потрясая кулаками:

– Наивные люди, глупцы! Поколение рабов! Они придают значение бумажкам, переговорам! Впрочем, – закончил он уже спокойнее, – это естественно для тех, чье сознание все еще находится во власти глупых предрассудков, для тех, кто не в силах переступить вековую грань, отделяющую раба от господина…

И Гитлер опять стал торопливо шагать из угла в угол, точно догоняя нечто видимое только ему одному.

Данвиц благоговейно ждал продолжения великих высказываний фюрера, но тот внезапно спросил скороговоркой:

– Сколько эшелонов в неделю можно незаметно перебрасывать в пограничные районы?

– Это зависит от времени года, от темноты ночей и от отдаленности конечной остановки поездов от границы, мой фюрер, – ответил Данвиц.

Он сделал паузу и добавил уже, так сказать, на свой риск:

– Разумеется, если переговоры с Молотовым закончатся неудачно и мой фюрер решит…

Но в этот момент Гитлер прервал его. Он снова воскликнул, вкладывая в свои слова всю силу презрения:

– Переговоры, договоры!.. Все союзы, которые заключаются не для совместного ведения войны, – чушь, бессмыслица, они ничего не стоят!

Он подошел к Данвицу медленным, торжественным шагом, взял его за подбородок и, слегка приподняв голову, посмотрел ему в глаза.

Потом тяжело опустил руку на плечо майора:

– Слушай, мой Данвиц, и запомни на всю жизнь азбуку современной политики. Пока существует большевистская Россия, моя цель – сделать Германию властительницей мира – недостижима. Тебе понятно это, Данвиц?

– Да, мой фюрер, – поспешно ответил Арним и добавил: – Какая нелепая ошибка истории! Большевизм не существовал бы вообще, если бы немецкая армия в восемнадцатом не потерпела поражения…

– Ложь, ложь! – фальцетом выкрикнул, прерывая его, Гитлер и топнул ногой. – Подлые сказки! – кричал он, потрясая кулаками. – Немецкая армия не потерпела поражения! Нет, ее предали! Не Германия, не немецкие солдаты проиграли ту войну, – им был нанесен удар в спину, в спину! – повторял Гитлер, задыхаясь и брызгая слюной. – Евреи и большевики – вот кто предал их, когда победа была уже близка!

Он умолк, будучи не в силах продолжать из-за охватившего его приступа ярости.

Данвиц молчал, ругая себя за вырвавшиеся у него слова. Ну конечно! Как он мог забыть великую мысль фюрера, которую тот высказывал не раз в своих речах, статьях, в «Майн кампф», наконец! Ну конечно же в мировой войне Германия была предана. Ее солдаты уже маршировали по Украине, бронированным кулаком расправляясь с большевиками, и готовы были начать наступление на Петроград, когда в их тылу, в Берлине, в сердце Германии, большевистские агенты, еврейские предатели Либкнехт и Люксембург начали восстание…

– Простите меня, мой фюрер, – дрожащим голосом произнес Данвиц, – я сказал глупость. Просто мысль о том, что большевизм мог бы быть задушен еще в колыбели, заслонила все остальные. Я виноват.

Но эти слова, казалось, прошли мимо ушей Гитлера. Теперь он стоял спиной к Данвицу, лицом к огромному окну, за толстым, пуленепробиваемым стеклом которого виднелись освещенные луной горы.

И казалось, к ним, к этим залитым призрачным светом вершинам, обращает свои слова Гитлер. Он говорил теперь уже медленно и весомо, как проповедник с церковной кафедры:

– Только одна страна может претендовать на право стать самой великой европейской силой. Это Германия. Почти все остальные нации вырождаются. Но вырождение идет слишком медленно. Мы поможем ускорить этот неизбежный процесс. Поможем им исчезнуть с лица земли или обрести участь, которую они заслужили, – рабскую участь. Германия станет хозяином мира, потому что государство, посвятившее себя взращиванию своих лучших расовых элементов, не может потерпеть поражение…

Гитлер снова повернулся лицом к Данвицу, но глаза его словно не замечали майора.

В это время большие стоячие часы глухо пробили два раза. Эти звуки, казалось, дали новый толчок мыслям фюрера.

– Час пробил! – торжественно произнес он. – Вы слышите, Данвиц? Мы приняли решение и не отступим от него. Россия будет раздавлена. Первым падет Петербург, за ним – Москва. Лишенные большевистской верхушки, русские упадут на колени. Дух тевтонский несет в себе неразгаданную тайну. Он подчиняет себе слабых. Я предсказываю вам, Данвиц, Россия рассыплется в прах, в пепел при первом же столкновении с национал-социализмом. Через пять недель после того, как эта рука, – он вытянул вперед руку, – укажет немецким войскам путь, мы будем праздновать победу. И ничто не в силах остановить нас!

– Мой фюрер! – воскликнул Данвиц. – Я хочу просить у вас высокой награды! В тот час, когда ваша рука укажет нам этот путь, я хочу быть там, на востоке, в первых рядах наших войск! Я хочу быть первым, кто вернется к вам с вестью о великой победе!

Несколько мгновений Гитлер смотрел на него в упор. Подошел ближе. Взял за отвороты френча, резким движением притянул к себе. Глухо, точно поверяя тайну, произнес:

– Тот мир, который я построю, будет принадлежать таким, как ты, Данвиц!

IV

…Хотя встречать гостей из Советского Союза в резиденции Гитлера – новой имперской канцелярии – было поручено статс-секретарю Отто Мейснеру, а не Данвицу, последний в качестве одного из адъютантов фюрера придирчиво проверил приготовления к приему.

Вот в этих воротах появятся машины с русскими. Медленно – скорость пять километров в час – проедут по внутреннему двору, выложенному серыми гранитными плитками.

Вот здесь, в пятнадцати метрах от высоких, отделанных бронзой дверей, Молотова и его спутников будет ждать Мейснер. Он сделает несколько шагов навстречу Молотову. Но не сразу. Даст тому возможность окинуть взором здание имперской канцелярии – недавно законченное величественное архитектурное произведение. Правда, кое-кому оно не нравится. Люди, чьи вкусы извращены так называемой цивилизацией, упрекают архитектора за смешение стилей. Пигмеи! Им не понять, что гениальный зодчий Шпеер воплотил в своем творении идеи фюрера и создал новый архитектурный стиль – национал-социалистский.

Итак, здесь, у хорошо заметной шоферу специально проведенной белой черты, первой машине надлежит остановиться. Примерно здесь, в этом квадрате, придется минуту-другую постоять Молотову, пока к нему подойдет Мейснер. Интересно, как почувствует себя большевик в окружении этих высоких серо-мраморных колонн, под взорами уже выстроившихся в шеренги штурмовиков – солдат вермахта?

Вот по этому пути большевистскому посланцу предстояло взойти на свою Голгофу.

Здесь, при входе в канцелярию, к процессии присоединится и Данвиц, чтобы довести Молотова уже непосредственно до кабинета фюрера.

Не таким уж коротким будет этот путь! Он пройдет через анфиладу комнат, сквозь шпалеры застывших у стен офицеров вермахта, чинов СС и СД и закончится у святая святых – у двери, ведущей непосредственно в кабинет фюрера. Так все это будет.

…Цепочка автомашин появилась в воротах внутреннего двора канцелярии в час пятнадцать минут. Первая машина – черный длинный «мерседес» – застыла, согласно данной шоферу инструкции, у белой черты.

Сидевший рядом с шофером чиновник министерства иностранных дел выскочил из машины и открыл дверь задней кабины. Оттуда не спеша вышли Молотов и те, кто его сопровождал.

Окинув скользящим взглядом квадратный двор, похожий на тюремный или казарменный плац, и точно не замечая ни орлов со свастиками в когтях, ни застывших в каталептических позах солдат, Молотов, так и не выждав предполагаемой паузы, резкими шагами направился к двери, ведущей в здание.

И Мейснеру, стоявшему у подъезда, не оставалось ничего другого, как поспешить ему навстречу, иначе нарком уже без всякого эскорта через мгновение сам достиг бы высоких, украшенных бронзовой отделкой дверей.

Мейснеру пришлось почти бежать, чтобы успеть все же встретить Молотова на полдороге.

И получилось так, что весь церемониал встречи: снятие шляп, рукопожатия – был скомкан, Молотов поздоровался с Мейснером не останавливаясь, только чуть замедлив шаг, и казалось, что он лишь отдает неизбежную дань внимания назойливому просителю.

Данвиц, наблюдавший всю эту сцену из окна вестибюля, был вне себя от обиды и злости. Он думал, что это было ошибкой – поручать встречать Молотова именно Мейснеру, этому холую покойного Гинденбурга, человеку, опутанному предрассудками старомодной дипломатии. Любой офицер СС справился бы с этой задачей куда лучше.

Появление в вестибюле Мейснера, Молотова и его спутников оторвало Данвица от размышлений.

В ту минуту, когда гости поравнялись с ним, он сделал строевой поворот и присоединился к процессии.

Они шли по бесконечной анфиладе комнат без окон, и днем и ночью освещаемых лишь электрическим светом. Стоявшие длинными рядами офицеры щелкали каблуками и выбрасывали вперед правую руку с такой быстротой и силой, что проходящим сквозь их строй людям могло показаться, что их хотят ударить.

Это был ритуал, подавляющий своей мрачной торжественностью. Тишина. Только гулкое щелканье каблуков. Только резкие взмахи рук. В этом салюте слились вместе и угроза, и властный приказ повиноваться.

Но на Молотова эти люди, видимо, производили не большее впечатление, чем размахивающие крыльями ветряные мельницы.

Данвиц нарочно ускорил шаг и шел теперь почти в одном ряду с Молотовым, конечно, чуть поодаль. Теперь он мог видеть лицо наркома – желтоватую кожу, тронутые сединой усы, плотно сжатые губы, пенсне, большой лоб, аккуратно расчесанные на пробор волосы.

Один раз Данвицу показалось, что губы Молотова чуть искривились в с трудом скрываемой презрительной усмешке. Больше всего на свете Данвицу хотелось бы крикнуть сейчас «Хальт!», а потом приказать схватить этого человека, вывернуть ему руки, сбить с ног…

Но вот впереди забрезжил дневной свет. Анфилада заканчивалась круглым, с большими окнами холлом.

Он был переполнен людьми: они сидели на диванах, расставленных вдоль стен, толпились у стола с закусками, сновали взад и вперед с толстыми кожаными папками в руках – штатские военные…

И только перед высокими, уходящими к потолку дверями, у которых застыли два эсэсовца, оставалось как бы мертвое пространство. Никто не подходил к двери ближе чем на несколько шагов. Как только Молотов и все, кто шел за ним, появились в холле, наступила тишина. Те, у кого в руках были тарелки с едой, торопливо поставили их на стол. Сидящие на диванах поспешно встали. Все взоры обратились на советскую делегацию. Молотов чуть наклонил голову, вежливо, но холодно, выражение его лица не изменилось.

В наступившей тишине раздались слова Данвица. Сдавленным от волнения, от сознания величия момента голосом он сказал, что фюрер ждет господина Молотова и сопровождающих его лиц в своем кабинете.

И тотчас же столпившиеся в холле люди поспешно отступили назад, к стенам, стоящие у двери эсэсовцы распахнули обе ее половины и, сделав резкий поворот, выбросили вверх правые руки.

Молотов, его заместители и переводчики вошли в кабинет Гитлера, и двери бесшумно закрылись за ними.

…Пожалуй, впервые после приезда в Берлин Молотов испытал чувство некоторого недоумения. Кабинет, казалось, был пуст. Советские представители стояли в большом, словно предназначенном для балов зале. На стенах висели огромные гобелены. Пушистый ковер закрывал пол. Справа от входа стоял круглый стол и несколько кресел. На столе не было ни бумаг, ни карандашей – только зажженная большая лампа под абажуром.

Очевидно, из-за света этой лампы все, что находилось в дальней стороне комнаты, было погружено в полумрак, хотя там, вдали, и угадывались очертания широкого письменного стола и установленного на подставке огромного, в человеческий рост, глобуса.

Пока Молотов решал, где же следует ожидать хозяина кабинета – здесь, посредине комнаты, или попросту расположиться в креслах у круглого стола, – там, вдали, появилась щуплая

фигурка во френче. Она возникла откуда-то снизу, точно из-под пола, и Молотов понял, что просто не заметил ранее сидевшего за письменным столом Гитлера, едва различимого в полумраке, на фоне гобеленов, глобуса, стульев с высокими спинками – всех этих преувеличенно больших вещей.

Но постепенно глаза Молотова привыкли к обстановке. Он видел, что Гитлер встал и, обеими руками опершись на доску письменного стола, пристально смотрит на группу стоящих посреди комнаты людей.

Это длилось всего несколько мгновений.

Затем Гитлер вышел из-за стола и направился к Молотову.

Теперь уже можно было различить серо-зеленый цвет его френча и черный военный крест, приколотый на левой стороне груди.

В нескольких шагах от Молотова Гитлер внезапно остановился и вяло взмахнул рукой. Движение это ничем не напоминало те, которыми салютовали Молотову офицеры на его пути сюда.

Затем он подошел к Молотову и по-прежнему молча протянул ему руку. Они поздоровались.

Процесс рукопожатий длился несколько минут. Гитлер подходил поочередно к советским представителям, к переводчикам и протягивал им руку.

Все казалось в нем вялым, обмякшим. Его плечи были опущены, рука словно лишена костей, кожа лица была серой, лишенной каких-либо жизненных красок.

И только глаза, маленькие, острые глаза, полуприкрытые тяжелыми, точно опухшими веками, горели, будто угольки под пеплом.

Затем Гитлер сказал быстро, но монотонно, точно выполняя неизбежную повинность, что рад приветствовать московских гостей в Берлине.

Незаметно появившийся, будто откуда-то из стены, переводчик так же бесцветно, как бы имитируя Гитлера, повторял по-русски слова холодного приветствия.

Молотов молча наклонил голову, Гитлер сделал ленивый жест рукой в сторону круглого стола и кресел и первым засеменил туда. Никто не заметил, как и откуда в комнате неслышно появился Риббентроп в сопровождении толстяка Шмидта, личного переводчика Гитлера, и сухощавого Хильгера, советника немецкого посольства в Москве.

После того как все расселись, некоторое время длилось молчание. Гитлер сидел ссутулившись, слегка навалившись на подлокотник кресла.

Неожиданно он выпрямился. Откинув голову и ни к кому в отдельности не обращаясь, устремив взор в потолок, начал говорить.

Начало речи было спокойным, даже монотонным, манера говорить несколько усталая.

Гитлер начал с того, что поражение Англии – это, по существу, уже совершившийся факт. Если бы не густые туманы, которые в это время года обычно окутывают Британские острова, английская делегация уже ждала бы приема у порога этого здания с формальной капитуляцией в руках. Но период туманов скоро окончится, и немецкая авиация нанесет свой завершающий удар…

Гитлер говорил тусклым, лишенным интонации голосом, но гладко и без запинок, точно видя перед собой заранее написанный текст. Казалось, что он умышленно, по тонкому расчету не вкладывает никаких эмоций в свои слова, чтобы подчеркнуть, что все, о чем он говорит, – в сущности, аксиома. Смешно волноваться, излагая закон Архимеда. Закон есть закон, о нем в случае необходимости можно напомнить, но доказывать его непреложность нелепо.

Именно в этом заключалась цель ораторского приема Гитлера – он говорил о поражении Англии как о чем-то решенном, общеизвестном, бесспорном, не нуждающемся в аргументации. Он даже не давал себе труда взглянуть на лица своих собеседников, чтобы определить,

какое впечатление производит на них его речь, он не сомневался в характере этого впечатления. Говоря, Гитлер смотрел куда-то поверх голов сидящих перед ним людей.

– …Итак, – продолжал он, – нам нет смысла тратить время на обсуждение английской проблемы. С Англией покончено, – сказал он, чуть повышая голос и делая резкий взмах рукой от себя, точно откидывая, окончательно сбрасывая со счетов разбитую Англию. Потом на мгновение умолк и, пожалуй, впервые взглянул прямо на Молотова.

Но тот сидел неподвижно, невозмутимо, положив руки на подлокотники кресла.

Лишь изредка, слушая перевод, он едва заметно наклонялся в сторону переводчика.

– Есть, конечно, проблема Америки, – сказал Гитлер, – но она пока имеет лишь чисто теоретическое значение, поскольку Штаты не смогут угрожать «Новой Европе» до семидесятых или восьмидесятых годов… Не смогут! – повторил он уже несколько раздраженно, поскольку ему показалось, что на лице Молотова при словах «Новая Европа» мелькнула едва уловимая усмешка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.